

ПИРАМИДА



СЕРГЕЙ ЗИМОВЕЦ
МОЛЧАНИЕ
ГЕРАСИМА





СЕРГЕЙ ЗИМОВЕЦ
МОЛЧАНИЕ
ГЕРАСИМА

**ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ
И ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ
О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ**

МОСКВА

"ГНОЗИС"

1996

ББК 87.4

3 83

Издатель

В. Анашвили

Художник

А. Бондаренко

Сергей Зимовец

3 83 Молчание Герасима. – М., Гнозис, 1996. – 168 с.

ISBN 5-7333-0450-2

ББК 87.4

- С. Зимовец
- Бондаренко А. Художественное оформление серии.
- Издательство «Гнозис». Составл., серия «Пирамида».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

7

1. Собачья жизнь

9

2. Театр Буратино

25

3. Сын полка: бог из машины

33

4. Пушкин: толкование сновидений

48

5. Баба не существует

55

6. Политическое значение природы, или

Персик не существует

82

7. Феминология Вл. Соловьева

98

8. Утопление в говне как семиотический коллапс

106

9. Тела шпионажа

123

10. Кризис этноидентичности: новые русские

139

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня почти нормой становятся представления о политической невинности (что-то вроде “презумпции жеманной”) и святости российской литературной и естественно-научной классики. И вместе с тем — пренебрежение и суровое осуждение литературы социалистического реализма по причине её оголтелого идеологизма. Не трудно понять и описать эту конъюнктурно-отказную социальную оптику, её истинные мотивы и механизмы. Но цель этой книги иная. В ней собраны попытки заново прочесть то, что, казалось бы, теперь нет никакой необходимости читать — уже давно всё и всем ясно.

Автор сознательно работает с общеизвестными текстами, с прирождёнными нам культурными стереотипами. Онегин и Татьяна, Герасим и Муму, Ваня Солнцев, Буратино, Шариков и Швондер, Колобок, Белка и Стрелка, Мичурин, Три Павла (Власов-Корчагин-Морозов), Чук и Гек — какие родственные имена! Какие социокультурные измерения, с детства интериоризированные нам в качестве основы нашего внутреннего мира! Мы весьма редко их вспоминаем, но они всегда живут в нас в качестве психологических конфигураций наших мировоззрений, характеров и поступков. Их нельзя “ликвидировать вдаль” в злобе простодушной или рассеять перцептивным натиском повседневных забот. Они способны присутствовать отсутствуя. И они не так просты, как зачастую это представляется.

Действительно, почему, к примеру, Герасим сперва безропотно-послушно топил Муму, а затем вызывающе непокорно уходит от барыни? Почему бы ему сразу не уйти в свою деревню вместе с любимой Муму? Какие тайны открывает психоанализ общеиз-

вестного сна Татьяны Лариной? Почему Павлик Морозов действует в полном соответствии с классическим треугольником Эдипа, и что же тогда означает для этой классичности карающая фигура его деда? А как быть сироте Ване Солнцеву с целым полком Отцов? Как формируются его сексуальные ориентации и социальная идентичность в этом множественном отцовском — и чисто мужском — измерении? По зубам ли оказалась бы эта проблема самому Фрейду? Почему пролетарию Швондеру оперированный пёс-мутант Шарик-Шариков антропологически ближе, чем гуманист профессор медицины? Каковы символические значения удивительного русского *тела без органов* — Колобка, и не он ли являлся искомым телесным идеалом для гениального шизофреника Антонена Арто?

Таких неоднозначных и обескураживающих вопросов о том, что “всем давно ясно”, необозримое множество, стоит только нам изменить привычные стереотипы стратегии прочтения и позволить себе не следовать устоявшимся школярским толкованиям и оценкам. За простыми общеизвестными агентами и хрестоматийными образами культурного поля скрывается фундаментальная история русского — российского — мира, бесконечного по разнообразию и бездонного по глубине.

Не менее захватывающим представляется для автора и феномен “новой российской литературы” (последних десяти-пятнадцати лет), ибо в нём, как в особой “физиологически наиболее жизненно важной точке” культуры, совместились множество стратегий письма, сведено огромное количество разноуровневых рецепций и ментальных рефлексов не только на предшествующие литературные практики, но и на тот тугой узел отчаянных проблем, в который была завязана одна шестая часть суши. В этом литературном опыте автора интересуют множественные метафизические и психоаналитические подтексты, художественные и языковые провокации, радикализация и проблематизация классических и современных моральных и эстетических ценностей. Исследовать микрофизику этого письма — значит попытаться прояснить бытие наиболее чувствительной ткани нашей странной культуры, культуры, которая, как никакая другая, узнала на собственной шкуре стигматизирующую стальную силу деспотической власти и вместе с тем цену высоким полётам духа и мукам покинутой плоти.

Автор выражает свою признательность и благодарность Эдуарду Надточию, Михаилу Маяцкому, Лидии Семёновой за их неоценимую помощь в возникновении этой книги.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

*О глухих и немых, и бесных, и
которые в малых летах в обыск
не писати и их не допраши-
вать.*

Из свода законов Московской
Руси XVII века.

Изображение собачьей головы и метлы служило символом опричнины Ивана Грозного, красноречиво манифестировавшим основные её задачи: выслеживать, вынюхивать и выметать врагов государевых. Фактов выражения властной стратегии в образах животных неисчислимо множество, начиная с древнейших времён и кончая современностью, и опричина здесь не исключение. Более того, сама история власти в России чрезвычайно однообразна с точки зрения её структурной организации и тех способов, которыми она схватывает коллективное социальное тело. Примеры древнего Новгорода, царской Думы и Верховного Совета времён перестройки хотя по видимости и выбиваются из общей картины, но не разрушают её, являясь своеобразными тестовыми индикаторами по отношению к доминирующей стратегии власти. Общеизвестно, что по-египетски величественный пирамидальный строй властных отношений всегда определял в России стратификацию социальных слоёв, политически представленных и фиксированных в этих отношениях. Фактически мы можем наблюдать только единственную незначительную девиацию этой структурной организации, которая проявилась в эпоху сталинизма.

Необходимо учитывать при этом и тот факт, что структуры власти в России не поддаются окончательной рациональной калькуляции, поскольку они никогда не образовывали строго разграниченных аналитических пространств, в которых располагались бы соответствующие функции власти. Юридическое выражение власти в России никогда не носило доминирующего или, более того, формообразующего характера, тем паче что Великий Князь, Царь, Император, Императрица, Вождь, Генеральный секретарь всегда были неподконтрольны, сфера их властного бытия находилась всякий раз выше строки писаного права. Именно с этим связано и то непреложное обстоятельство, что закон в России по преимуществу носит характер указа, т. е. приказа, и время его жизни весьма непродолжительно.

Власть приказывает, контролирует, судит, награждает, распределяет, запрещает, обязывает, сама оставаясь безответственной. Каков же механизм этой безответственности, если в своих существенных моментах власть задаётся не правовыми, рационально обоснованными принципами и нормами? Здесь вполне естественен вопрос о сознательно не проясняемых структурах, продуцирующих данную стратегию власти и определяющих ритуал послушания ей, т. е. о некотором пространстве коллективного бессознательного, которое в его социокультурной форме репрезентировано в обычаях, традициях, верованиях, сказаниях и т. п. Наиболее показательно оно выступает в определённых типах коммуникации с властью, построенных на тех или иных представлениях о справедливости, моральности, ценности, добре и зле. То, как вписывается коммуникация в грамматику власти и как преломляются в последней исходные предпосылки первой, является, с моей точки зрения, самым существенным для анализа бессознательного в сфере властных отношений, отношений неосознанных исторических действий господства и подчинения.

Поскольку в основе человеческой активности лежат потребности и желания, акт коммуникации в самых абстрактных моментах есть включение потоков желания в речевой, символический строй. Только так желание может репрезентировать себя в составе социальных (властных) отношений, а значит, и ввести себя в некоторое структурное единство, которое предписывает те или иные формы реализации, удовлетворения желания, а заодно и формы его выражения. Это предписание воспринимается как нечто “естественное”, аксиоматическое, и именно этой богданной натуральностью оно скрывает в себе невидимую работу аппаратов власти, дисциплинирующих “дикие” индивидуализированные потоки желаний в своих кодах. Рассмотрим это более об-

стоятельно на примере замечательного произведения И. С. Тургенева “Муму”.

Как нам известно, полярными сторонами коммуникации в повести представлены дворник Герасим и барыня. По замыслу автора, Герасим является природным воплощением и выражением естественных, диких потоков желания, именно его натурально-животное бытие подвергается дисциплинарному воздействию власти. Припомним, Герасим — глухонемой от рождения. “Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево... Переселённый в город, он не понимал, что с ним такое делается, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык...”¹ Московские дворовые называют его “леший”, “медведь”, “глухарь”. Дикая, животная сущность Герасима, закреплённая в его облике и немоте, не выступает в символическом строе артикулированных знаков, а значит, не подвержена преобразованию грамматикой власти, что позволяет ей оставаться в состоянии самодостаточного нарциссизма.

Но вот со временем Герасимом овладевает сексуальное чувство к прачке Татьяне и возникает необходимость *выразить желание для другого*, т. е. Герасим так или иначе вынужден воспользоваться означающим — вещественным, материальным элементом знака. Каким же должно быть это означающее? Герасим желает прачку Татьяну, но объект его желания встроен в систему властных отношений, и перед Герасимом стоит проблема вступления в коммуникацию с властью по поводу владения объектом желания. Следовательно, означающее должно быть общезначимым по крайней мере для данных коммуникантов, включаться в их индивидуальный тезаурус. Герасим последователен и намерен вступить в сношения с властью: “Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней...”² Роль кафтана здесь весьма существенна, ведь заросшее “шерстью” лицо Герасима — это морда животного, а его недифференцированная речь (мычание) — голос животного. Они не могут служить средствами коммуникации, это те негативные знаки, которые разрушают коммуникацию. В связи с этим вполне понятна и оправданна попытка вступления в коммуникацию через кафтан, маркирующий человеческую нормальность глухонемого. Но ей не суждено было случиться: Татьяну по воле барыни отдают пьянице Капитону. Таким образом, человеческая сущность Герасима не подтверждается властью, а

¹ Тургенев И. С. Избранное. М., 1976, сс. 187-188.

² Там же, с. 193.

его место определяется за порогом самого последнего и непутёвого пьянчужки.

И всё же эта акция власти вызывает многочисленные социальные следствия. Во-первых, это упреждение несанкционированной попытки контакта с властью, т. е. предварительно-профилактическая дисциплинарная нормализация самодеятельности противной стороны. Во-вторых, фундаментальная утрата Герасимом объекта желания есть прямая угроза кастрацией и одновременно (что наиболее значимо) *внедрение символического (интерсубъективного) строя в его дикие потоки желания*. В этой ситуации Герасим как субъект желания децентрируется, его нарциссическая самодостаточность разрушается нехваткой, которую он отныне будет стремиться восполнить, а власть будет контролировать и распределять это стремление, т. е. фактически осуществлять доместикацию животного. В-третьих, интенсивное подавление влечения³ оборачивается для Герасима возникновением (проекцией) эдипальной структуры психики европейского образца: Я, Супер-эго и Оно. “Я” Герасима — это нехватка, то, что подверглось децентрации и обнаружило себя через раскол. “Оно” — источник желания и сфера вытесненного влечения. “Супер-эго” — законодатель, барыня-Отец, выступающий в двух ипостасях: абсолютного Другого и центра символического горизонта, источника сигнификативной грамматики. Барыня-Отец или соединяет закон и желание, или рассоединяет их, переводя незаконное желание в пространство репрессии. Это соединение-разъединение основано на архаической универсальной *фаллической функции*, присваиваемой властью и приписываемой ей. Здесь фаллос как центральное означающее Другого является меткой, линией сопряжения гетерогенного, линией складки логоса и желания. Так под действием власти животное начало Герасима постепенно преобразуется в человеческое, хотя сама власть, конечно, не осознаёт этого.

В дальнейшем репрессивно вытесненное влечение латентно активизирует стремление восполнить отсутствующее, нехватку и наконец воплощается в находке Герасима, в щенке, которого он выхаживает и называет Муму. Проходит год, и юная Муму становится заместителем утраченного когда-то объекта влечения, специфическим протезом, с помощью которого восстанавливается самодостаточность нарциссической машины желания глухоне-

³ “Целые сутки не выходил он оттуда... Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нём особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее...” — там же, с. 200.

мого дворника. Желание Герасима теперь замыкается на Муму и делегирует ей свое либидо. Вместе с тем Муму является не только пространством инвестиций либидо, но и пространством инвестиций приобретённого Герасимом социального кода. Не случайно её нарративный образ носит исключительно антропоморфный характер: “...большие выразительные глаза... она была чрезвычайно умна... с важностью *на лице* (выделено мной. — С. 3.) отправлялась вместе с ним (Герасимом) на реку... полная хозяйка... тонкий голосок...”⁴ и т. п. В Муму объективируются социальные признаки Герасима, поэтому Муму, прежде всего, это человеческое лицо и человеческий голос Герасима, которые возникают в конечном итоге как результат дисциплинарных действий власти. Муму — это символический строй языка Герасима, процесс означивания-реализации его потоков желания. Протезирование социального — лица и голоса — позволяет Герасиму вступить в коммуникацию с властью через Муму, хотя результат этого акта приобретает для судьбы Герасима прямо противоположное значение относительно первой и неудавшейся попытки. Мы знаем, что ортопедический проект социального отвергается барыней-Отцом как незаконная самодеятельность: в этом проекте власть не узнаёт саму себя, не распознаёт и не признаёт свои собственные результаты. И репрессия по отношению к Муму-Герасиму запускает обратный механизм перекодирования и ретерриторизации ортопедического социально-либидозного пространства. Этот обратнопоступательный механизм власти можно с полным правом назвать *политической ортопедией власти*.

Коммуникативная стратегия Герасима полностью сминается грамматикой власти, обнажая утопию общезначимости смысла и иллюзию рациональности процессов сигнификации. Власть утверждает себя иррационально, противопоставляя эквивалентному обмену означающими жертвенность. И в этом смысле власть монологична и дискommунитивна: когда ей говорят — она нема, когда она говорит — она глуха. Но в любом случае она вменяет в вину и требует искупления. Стратегия власти направлена в данном случае на то, чтобы поставить Муму-Герасима на пороге интенсивности антропологического режима чувственности. Ситуация, в которую попадает Герасим, здесь очень близка ситуации киркегоровского Авраама из “Страх и трепет”. Авраам по велению Бога осуществляет акт принесения в жертву своего сына, Герасим по велению власти приносит в жертву Муму. И тот и другой преодолевают порог интенсивности, порог челове-

⁴ Там же, сс. 202-203.

ческих возможностей. Характерно здесь молчание Авраама и молчание Герасима. Но если Авраам, переходя порог интенсивности, превращается в “психоавтомат” (В. Подорога)⁵, которому одному только и доступно выживание “за пределом”, то Герасим как психоавтомат претерпевает становление животным. Поскольку в самый последний момент Бог всё-таки останавливает Авраама от убийства своего сына, убедившись в его несгибаемой вере, Авраам имеет возможность вернуться в мир человеческого и внести приобретённый опыт веры в границы человеческой чувственности. Герасим же лишён этой ретроактивной возможности, он проходит свой путь до конца. И в этом отношении молчание Авраама и молчание Герасима различны по своему содержанию, по своей символической наполненности.

Если молчание Авраама — это трансгрессия режима чувственности, это сверхголос, недоступный человеческому уху, но только Богу, то молчание Герасима — это сверхкрик, разрушающий режим сигнификации власти, это сверхкрик, стирающий Герасима как человека и утверждающий его как животное. Сверхившееся разрушение коммуникации через Муму — это и утверждение вечно жертвенной коммуникационной боли (Ж. Баттай), сопровождающей редукцию человека к животному. Акт утопления Муму показателен как сверхскорость разрушения символического измерения, т. е. фактически смерти барыни-Отца (в качестве законодателя) для Герасима. Сам Герасим становится могилой Бога-законодателя, но такой могилой, в которой нельзя обнаружить сам труп (что было бы возможным, по всей видимости, в случае с Авраамом, если бы он всё-таки убил своего сына). Герасим несёт в себе “пустоту могилы Бога” (Ж. Лакан), что манифестирует отсутствие голоса, означающего, лица, протеза, которые могли бы маркировать Герасима как субъекта, как человека. Опираясь на формулу предельной субъективности Жака Лакана, можно сказать, что Герасим как субъект теперь является мнимой величиной⁶, т. е. окружающие его люди ещё могут приписывать ему (на основе проекции или аналогии) некую субъективность, но внутренняя — интериорная — организация его психики-сознания уже полностью лишена субъективного измерения.

⁵ Понятия “складка”, “протез”, “симулякр”, “психоавтомат” введены в оборот такими философами, как Ж. Делёз; М. Мерло-Понти, Ж. Бодрийяр. Появлению в русской философии и содержательной их интерпретации мы обязаны В. Подороге.

⁶ S (означающее) = s (высказыв.), при $S = -1$ $s = \sqrt{-1}$.

В то же время утопление Муму полагает ещё один знак утраты, утверждающий предшествующую угрозу кастрацией её реальным осуществлением. Собственно, это и есть проявление той силы-власти, которая делает трансгрессию Герасима необратимой, но при этом знаменует своё собственное саморазрушение, обнаруживая бесповоротный конфуз фаллической функции, так как комплекс кастрации в качестве перманентной угрозы, с помощью которой она утверждала примат закона над желанием, в данном случае навсегда выходит из игры и не определяет более свободного бега-ускользания *герасима*. Бык-медведь-герасим возвращается в лоно природы-Матери, он опять животное. “Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не смотрит на них, и ни одной собаки у себя не держит”⁷. Теперь это оскоплённое животное.

Итак, мы обнаруживаем две амбивалентные линии трансформирующих действий принудительных властных отношений: ***становление животного человеком и редукция человека к животному***. Данные стратегические маятниковые действия власти в России в значительной мере связаны со специфическими гетерогенными основаниями в её исторических истоках.

Этот маятниковый процесс осуществления власти российской формации с высочайшим профессионализмом раскрыт в повести Михаила Булгакова “Собачье сердце”. Я имею в виду профессиональное мастерство медика, весьма существенное для анализа стратегий власти, поскольку последняя, особенно в европейском облике, сама обладает клиническим взглядом на социальность и нормы её существования.

В булгаковской повести показано столкновение двух оппозиционных типов власти. На одном полюсе находится европейский тип, фиксированный в профессоре Преображенском, на другом — номадический, воплощённый в председателе домкома Швондере. Между ними положено пространство Шарика-Шарикова, пронизанное взаимодействиями двух разнонаправленных стратегий. Это пространство можно было бы обозначить как пространство войны, хирургии и политической ортопедии. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, признанное “европейское светило”, организует свои властные отношения на основе научно-рациональной, детально рассчитанной и разумно обоснованной. С его европеизированной точки зрения, противоположная сторона “ещё не совсем уверенно застёгивает свои собственные штаны”, в головах её носителей власти “разруха”, и

⁷ Там же, с. 221.

нормализовать её по европейскому образцу (т. е. истинно человеческому и культурному) можно только через организацию пространства дисциплинарного надзора: “Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! — “Угу-гу-гу! — какие-то пузыри лопались в мозгу у пса... Городовой! Это и только это... Поставить городского рядом с каждым человеком...”⁸.

В рамках проекта научно-рационального господства над природой пёс Шарик подвергается хирургической операции, причём ему были трансплантированы мужские яички с семенниками и человеческий гипофиз, придаток мозга. Конечно, выбор этих органов ни в коей мере нельзя считать случайным, так как именно они с политико-ортопедической точки зрения ответственны за *логос-закон* и *желание* — эти два незыблемых бинарных признака человека. И всё же превращение пса в человека оказывается непредвиденным для европейских клиницистов, поскольку здесь на смену рациональной технологии биовласти приходит иррациональный архаический процесс трансформации животного в человека и разворачивает сферу возможности социальных инвестиций и манипуляций. Кодификация потоков желания Шарика показывает, как голос животного постепенно начинает вписываться в социальную фонетику: «Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова “гау-гау” на слоги “а-о”, по окраске отдалённо напоминает стон... В 12 ч. 12 мин. пёс отчётливо пролаял А-б-ыр... Вечером произнёс 8 раз подряд слово “Абыр-валг”, “Абыр”⁹. Как мы убеждаемся, становление человеком не исключает голоса животного, а лишь кодирует его, скрывая его с “наоборотной” стороны.

Такого рода связь голоса животного и грамматики означающей власти прекрасно раскрыта в творчестве Велимира Хлебникова. Способ, которым он декодирует эту грамматику, связан с включением в процесс сигнификации голоса животного (чаще всего это голоса птиц):

Хию хмапа, хир зэнь, ченчь
Жури кика син сонэга.
Хахотири эсс эсэ.
Юнчи, энчи, ук!
Юнчи, энчи, пипока.
Клям! Клям! Эпс!¹⁰.

⁸ Булгаков М. Собачье сердце. М., 1989, сс. 29-30.

⁹ Там же, с. 44.

¹⁰ Хлебников В. Творения. М., 1987, с. 485.

В этом языке нет места для дисциплинарной нормализации средствами семиотического порабощения, он — противоречь, которая апеллирует не к логосу, смыслу, а к чувству, эмоции, мимическая предписания власти. Язык Хлебникова складывается из тех элементов, которые предпосланы самой грамматике власти, их иррациональность — это то, на чём покоится симулятивная сила логоцентризма языка власти, поэтому прямое обращение к этим первоначалам и декларативно-открытая манипуляция ими обезоруживает и обессиливает власть, не способную признать свои собственные источники. Хлебников очень часто обнажает и демонстрирует иррациональные основания логоцентризма и показывает, как они вписаны во властную стратегию.

Азь-два... Ноги вдевать в стремяна! Но-жки! Азь-два.
Ишь, гад! Стой... Готов... урр... урр.
Белая рожа! Стой, не уйдешь! Не уйдешь!
Стой, курва, тише, тише!
Зарежу, как барана... Стой, гад!
Стой, гад. Ать!
Хырр...хырр...
Урр...
Урр...
Не уйдешь...
Врешь... Стой...
Стой...
Урр...Уррр...
Хырр...
Хрра...
Ать!¹¹

Урчание, хрип, рык лежат в основе приказа, угрозы, репрессии и извлекаются на поверхность чутким поэтическим слухом, декодируются в составе поэтической речи.

Но вернёмся к собачочеловеку. Ассистент профессора Борменталь записывает в дневнике медицинских наблюдений: “В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери”¹². Этот момент является едва ли не самым значительным в становлении пса человеком: освоение универсальных означающих (матерных слов) и употребление их в отношении линии родства — это показатель начальной ориентации в топосах полов и открытие отсутствия

¹¹ Там же, с. 489.

¹² Булгаков М. Собачье сердце. С. 45.

фаллоса у матери проф. Преображенского, который в своей социальной ипостаси выступает для Шарика-Шарикова в роли Отца, носителя Закона. Следовательно, за внешним фактом оскорбления скрывается эдипальная угроза устранения Отца и инцестуально-фаллическое подчинение матери (бабушки) своему желанию. В данном случае социально-психологическое становление ребенка-пса достигает генитальной стадии, и он идентифицирует себя через фаллический атрибут с мужским полом.

Именно с этим процессом связано то, что первыми актами власти Отца-законодателя Преображенского были табу-запреты на реализацию желаний в формах, противоречащих европейским представлениям о норме и культуре. Но процесс нормализации Шарикова всё же идёт по иному пути, тем более что он получает абсолютную поддержку Швондера. Номадическая стратегия Швондера не предполагает следования европейским нормам, почитая их враждебными “трудовому элементу в Ресефесере”. Инициация и документальное оформление “новой человеческой единицы”, а главное, постановка её на военный учёт — вот первые акты этой стратегии. Рационально соизмеримым аналитическим пространствам нормализации противопоставлены (паранойяльно гипертрофированные, нелепые, неразумные для европейского Эго) знаки контроля и учёта, знаки, маркирующие единицу и вписывающие её в массу. Если первая сторона употребляет *дрессуру*, угрозу голодом и детальный, “мелочный” надзор Отца, то вторая делегирует единице *массовую анонимную силу*, интенсифицирующую её потоки желания и трансгрессивный режим чувственности, который утверждает социальность через преодоление индивидуальной перцептивной ограниченности, т. е. здесь сталкиваются фамилиарная, семейная эдипализация с “эдипализацией” (в кавычках) по типу “сын полка”, и первая терпит поражение. Это поражение обеспечивается тем, что носители европейского типа власти перманентно истеризуются через разрушение их рациональных норм и принципов “первобытными”, “чисто звериными” (Преображенский, Борменталь) поступками социализирующегося пса. Хотя с противоположной точки зрения эти поступки квалифицируются как вполне нормальные и человеческие. Здесь Шариков принят как свой, его животная сущность (как её определяют Преображенский и Борменталь) есть гражданская участь и родовая принадлежность к трудящимся (по Швондеру). Таким образом, Шарик-Шариков является *биополитической складкой*, “створом” двух властных стратегий. Его животное-гражданская генеалогия оказывается результатом амбивалентных действий этих стратегий. И они, несмотря на гетерогенное происхождение этой складки, каждая

со своей стороны, пытаются редуцировать её к тому или иному гомогенному социокультурному пространству. Этим попыткам предпослана принципиальная неперевоодимость *двух наложившихся типов записи желаний*, один из которых просто не прочитывается противостоящей стороной. То, что значимо для Швондера, бессмысленно, нелепо для Преображенского, и наоборот. Кризис европейского типа власти, её неспособность к гегемонии в сложившихся обстоятельствах очевидны. Успех приходит только тогда, когда она заимствует и употребляет наиболее эффективное средство противника — прямое насилие. В результате повторной хирургической войны Шариков лишается человеческих органов, и через эту кастрацию начинается обратная редукция человека к животному, причём Шарик-Шариков, как это ни странно, в своём становлении животным вдруг начинает демонстрировать высокую европейскую культурность: «Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул пёс с кресла и встал»¹³. Этот парадокс — как животное Шарик ближе к европейской культуре, нежели в своей человеческой ипостаси, и наоборот, для русской культуры он ближе в человеческом облике, чем в собачьем, — весьма существенен. Он говорит о *принципиальной неконвертируемости двух типов социальности*, их дизъюнктивном сложении в складку-створ в России. Именно вследствие этого анализ структур власти в России постоянно обнаруживает за их рационально-логической репрезентацией иррациональные, неосознанные технологии.

Эффект амбивалентных действий власти даёт знать о себе в самых различных сферах социальной жизни, в детерминации условий и последствий самого широкого спектра. Весьма наглядно и рафинированно предстаёт он в основаниях естествознания, в формовке клинических и физикалистских воззрений. В связи с этим нельзя не упомянуть отца русской физиологии Ивана Петровича Павлова. Его плодотворные теории условных рефлексов, двух сигнальных систем и типов нервной деятельности устроены в полном соответствии со створчато-складчатой онтологией, из которой они и возникают. И вместе с тем деятельность Павлова показывает, как возможен формообразующий трансфер естествознания на властную стратегию и как возможен переход от социальных действий к созданию полигона естествоиспытаний человеческого на животном — от явлений «психического слюноотделения» до космического апофеоза Белки и Стрелки.

¹³ Там же, с. 93.

Работа естествоиспытателя Павлова с собакой предполагает реализацию некоторых основных установок или условий испытания естества:

- 1) маркировка пространства животного в оппозиции видимое-невидимое;
- 2) противоположение анатомическому топосу животного пространства технико-физического инструментария;
- 3) внедрение инструментов в анатомию животного с целью сделать невидимое видимым.

В связи с этим Павлов исповедует “новое физиологическое мышление”, утверждая хирургический метод в противоположность вивисекции. Этот щадящий гуманный метод позволяет сохранить животное, уберечь его от патологических последствий. Для чего в его организме просто вырезается “окошко”, через которое и производятся наблюдения физиолога. Таким образом, собака превращается в *кочевой*, “ходячий эксперимент” (И. Павлов), а естествоиспытатель — в надзирающего. Практика тюремной камеры органично входит в приёмы научной работы, а сами задачи физиологии встраиваются в линию наблюдение-опыт-выводы, что соответствует линии слежка-дознание-наказание в структуре властных отношений.

Теория условных рефлексов Павлова разрешила классическую проблему соотношения физиологического и психологического типично русским способом — завязав эти функции узлом. Условный рефлекс как узел представляет собой не что иное, как складку между организмом и средой, между видимым и невидимым, между физиологией и психикой. В этом контексте условный рефлекс как психофизиологическая складка, протезируемая фистулой, есть сопряжение гетерогенного, которое не может быть сведено к гомогенному, однородно-линейному пространству. Такое “сведение” возможно лишь при условии перевода одного гетерогенного в пространство репрессии, вытеснения, подавления, ликвидации его языка из состава культуры.

Животное как полигон испытаний человеческого естества находит своё жертвенное воплощение в теории типов высшей нервной деятельности. Научное различие этих типов на слабый, центральный и сильный подкреплено основательными и неопровержимыми доводами. Для того чтобы эти типы проявили себя, Павлов многократно воспроизводит у собак экспериментальные неврозы, провоцируя у животных максимум психического переживания. Способ введения животного в невротическое состояние достаточно прост и эффективен — кастрация. Именно она делает невидимое видимым: утрата, предьявляемая живот-

ному, разворачивает его нервную деятельность на поверхности, доступной прямому наблюдению; она записывает себя в аффективном невротическом поведении животного и считается с него уже как научно зафиксированная теория типов.

Удивительно здесь то, что произведение Тургенева “Муму” оказывается в высшей степени архетипическим для анализа технологий власти и её проникновений в различные социальные сферы, не исключая и деятельности Павлова, хотя она и облечена в строгий научный язык и конспирирована лабораторными условиями. Феномен Павлова, так или иначе, является эпифеноменом, артефактом “Муму”. Действительно, не является ли превращение животных в протез человека тем же эффектом “мумификации”? А лабораторная “башня молчания” Павлова (символический Герасим? фаллическая гробница кастрационного комплекса?)? В этом же ряду артефактов и коммуникация через fistулу, складчатая природа условного рефлекса и теории двух сигнальных систем.

Взаимоотношения между Герасимом и Муму, характеризующиеся либидозно-социальным протезированием, пройдя стадию радикальных естествоиспытаний, позднее воплощаются в грандиозных научно-технических полигонах. Так, 3 ноября 1957 года собака Лайка открывает космическую эру этих отношений. Наибольший интерес представляют полёты биологических кораблей-спутников марта 1961 года. В это время в безвоздушном пространстве побывали собака-сучка Чернушка и собака-сучка Звёздочка, и та и другая летали вместе с манекеном человека-космонавта. Несомненно, глухонемой манекен при поверхностном взгляде кажется играющим роль протеза при собаке-космонавте. Но если рассмотреть, на каких условиях вписываются собака и манекен в стратегию покорения космоса, то выяснится, что роль животного опять-таки сводится к протезированию антропологических параметров человека-манекена: его дыхания, кровяного давления, дефекации и т. д. Таким образом, архитекtonика отношений Герасима и Муму соблюдена и здесь.

Подводя черту, можно сказать, что тематически развёрнутый анализ позволяет определить основной, существенный принцип функционирования власти в России — **закон амбивалентных неосознанных исторических действий преобразования животного в человека и редукции человека к животному**. Этот закон осуществляется в условиях *створа-складки двух (и более) неконвертируемых типов социальности*, сопряжение которых в тех или иных сферах общественно-экономической жизни даёт начало *политико-ортопедическому протезированию*,

порождает особого рода симулякры на линии этого сопряжения. Эти протезы-симулякры являются особым феноменом, опосредующим гетерогенное в попытке снять его оппозицию или свести к гомогенному в границах геополитической складки. Наиболее общий признак такого рода ортопедии — *способность делать невидимое видимым, и наоборот, в режиме листа Мёбиуса, стык-разворот которого и представляет собой складчатое пространство России*. Именно на этой суставно-составной сценической площадке выступают все наши политические кудесники, объявляя ту или иную её сторону онтологическим аргументом “на самом деле”, принципом максимальной реальности, хотя условное и реальное, истинное и ложное, подлинник и артефакт, да и в целом вся логика бинарных оппозиций, стираются здесь так же, как и различие внутреннего и внешнего на листе Мёбиуса. Переход от одного типа социальности к другому в этих условиях обеспечивается за счёт *символического обмена* между ними, т. е. за счёт жертвы, чистой траты различий. Неэквивалентность этого обмена очевидна для европейского глаза, но не существенна для мистического потлача номадического образца, который усвоил опыт обмена через “силу и захват” (М. Рыклин). Политическая ортопедия на этом основании конституирует весь мир как мир тотальной симулякрии — только так власть может репрезентировать себя как “власть по праву” и легитимировать радикальную манипуляцию социумом для реализации глобальных проектов “коллективного спасения”.

Характерно, что эти закономерности и сущностные моменты работы власти реализуются не только в маргинальных социальных пространствах, но и в структурах политических институтов и организаций, там, где власть локализована и персонифицирована. В этом нас убеждает и опыт работы высших политических форумов: съездов, конференций, Верховных Советов, Парламентов. Деятельность этих политических институтов последних лет наглядно демонстрирует нарушение их самодостаточного нарциссизма. Расщепление целого (правые, левые, центристы), происходящее в темпе вялотекущей шизофрении, провоцирует в его частях комплекс нехватки власти, или, что одно и то же, нехватки фаллической функции. Причём части переживают эту нехватку по-разному: правые — как синдром утраченной власти, левые — как недостачу полноты власти. Роль центра в этой ситуации имеет особый характер, это та линия сопряжения гетерогенных стратегий власти, в рамках которой происходит попытка снятия оппозиций, т. е. *центр в политико-ортопедическом смысле и есть протез створа-складки*. Протезирование полноты власти в центре подпитывается воображаемым утраченного нарциссиз-

ма, былыми фантазмами параноидальной полноты власти целого, которая для всех без исключения нынешних частей представляется нормой-идеалом. Поэтому все усилия по преодолению перманентной нехватки постепенно приводят к расширению социальной истеризации и убыстрению шизопротеста, что на поверхности предстаёт как активная политическая борьба и размножение политических партий. Между тем центр в полном соответствии со своей природой демонстрирует сочетание неконвертируемых принципов: нелепых форм скупости и расточительности, гротескной заботливости и жестокости, мелочной щепетильности и глобальной беспринципности, сутяжничества и широких жестов. Желание власти, желание пропускать её “через себя” для этих политических структур является, по существу, желанием протеза стать органическим, стереть дистанцию между ним и органом социального тела, овладев всеми его функциями.

Но желание иметь и осуществлять власть должно быть артикулировано, введено в символический строй с тем, чтобы заявить о себе. Процесс соединения желания и языка (логоса) дан нам в многочисленных выступлениях депутатов, заявлениях, тех или иных документах и указах. Режим сигнификации в парламентской практике предполагает вступление в коммуникацию через микрофон, поэтому здесь важна роль председательствующего, связанного с контролем и распределением означиваемых потоков желания. Голос при этом становится решающим центром и пространством борьбы, по отношению к которому организуются диаметрально равноценные стратегии. Каждый депутат или лидер группы в связи с этим говорит от имени народа и избирателей, как бы освящая свой голос “авторитетностью групповой речи” (М. Рыклин), характерной для европейской демагогии в номадическом окружении. Основной задачей властной стратегии по отношению к голосу является задача “герасимизации” носителя голоса. Она достигается двумя путями: 1) заставить замолчать выступающего коллективным шумом, превышающим силу микрофонного голоса (крики, топот ног, хлопки), или просто отключением микрофона; 2) делегированием частного голоса лидеру команды. В этих процедурах выявляется роль лидера в качестве носителя голоса и персонифицированного лица групп или масс. Таким образом, лидер есть не что иное, как протез герасимизированных депутатов, или их мумуальный эквивалент.

Огромное большинство потоков сигнификации, исключая бредовые интерпретации событий, в борьбе за желание власти имеет чрезвычайно высокий процент языковой избыточности,

т. е. произносится слов гораздо больше, чем того требуется для понимания сказанного. С точки зрения лингвистов, избыточность в русском языке сама по себе достаточно высока по сравнению с немецким, английским или французским языками, она равна 65-70 процентам. Свободные статистические выборки политических выступлений показывают языковую избыточность в 95-99 процентов¹⁴. И в то же время намечается тенденция к увеличению скорости сигнификации, т. е. движение к порогам антропологических параметров восприятия, а следовательно, появляется реальная возможность возникновения политиков-психоавтоматов — лидеров фашистского образца, что и демонстрируют нам нынешние события. Очевидно, что смыкаясь с углубляющейся тотальной экономической и политической ретерриториализацией, эти процессы могут затребовать новой паранойальной устойчивости в центрации социума через абсолютного Эдипа — Чингисхана европейской индустриально-номадической коллективизации. Всё дело лишь в том, насколько далеко зашли процессы декодирующего молчания и в целом задержки крика социального коммунального тела.

А пока власть осуществляет всё тот же проект испытания естества, преобразуя невидимое в видимое через “окошко” компьютера в процедуре голосования-герасимизации депутатов складчатого всероссийского бессознательного.

Август, 1990

¹⁴ Интересно, что это соответствует проценту избыточности при олигофрении (в состоянии дебильности), где резонёрство носит терапевтически компенсаторный характер.

ТЕАТР БУРАТИНО

Идея театра в театре, кажется, вновь настойчиво проникает в нашу речь, политическую и театральную практику. Незаслуженно забытая, изгнанная через двери, она влетает в окно¹⁵. Эта идея, непрестанно воплощавшаяся повсюду в средневековье, в эпоху сумасшедшего торжества планетарного империализма окончательно сходит на нет. И только редкие всплески драматургического бессознательного вдруг артикулируют её в пространстве сцены. Одним из таких всплесков на русской почве была чеховская “Чайка”, в которой театр Треплева вызывает знобюще-атавистическую аллюзию, отсылающую нас к театру Гамлета, театру дознания и следственного эксперимента.

И все-таки опыт театра XX-го века постепенно открывает нам, что эта идея не исчезла, не испарилась раз и навсегда, а лишь латентно проросла в подпочвенной структуре драматургической мысли к предназначенной несокрытости и торжеству во всём своём гражданско-феодалном величии.

Не случайно в этом контексте обращение к общеизвестной замечательной сказке А. Толстого “Золотой ключик, или Приключения Буратино”, с самым ортопедическим героем нашего детства. Конечно, в своих исходных принципах это, прежде всего, волшебная сказка. Здесь налицо все основные функции, раскладывающиеся по схеме Проппа-Греймаса: субъект, объединяющий все атрибуты и действия главного героя (Буратино); объект — предмет желания главного героя (Театр); помощник —

¹⁵ Стало быть, в Санкт-Петербург?

класс персонажей, помогающих главному субъекту (Мальвина, папа Карло и т.д.); бенефициарий, извлекающий выгоду из действий главного субъекта (Пьеро, папа Карло и др.); даритель (черепаха Тортила); и, разумеется, антагонист — класс персонажей, противостоящих главному субъекту (Карабас Барабас, лиса Алиса, кот Базилио, Дуремар и т.д.). И в то же время повествование содержит множество знаков, коннотаций и структур, не схватываемых морфологией сказки и в сумме собирающих иной каркас общего смысла.

Как нам расценить безалаберное действие Буратино, окунувшего свой длинный нос во Мрак Чернильницы? И как связано это деяние с другим его свинским поступком — продажей Букваря? Не предпочитает ли он, на манер С. Малларме, “бездонную много-смысленность” источника тому “слою его явных и сугубо поверхностных” означающих, усвоением которых довольствуется масса? Буратино, проказник-герой сенильного детства, семиотический мудрец в Стране Дураков, закапывающий во мраке золотые монеты в почву плоского равнинного пространства. Уже только эти замечательные действия его несут в себе массу избыточных смыслов, способных перевернуть традиционное представление о весёлой детской сказке.

В самом деле, даже читая события как сказку, мы легко будем заведены в тупик историей возникновения и номинации героя. Он возникает на наших глазах; его создание из полена описано конкретно и подробно, указывая как бы на изначальную подлинность Буратино. И в то же время, вопреки ортопедическому замыслу папы Карло, герой обзаводится длинным самовольным носом, а его немедленное “узнавание” куклами в театре Карабаса Барабаса, а затем и портрет на старинной дверце выдают нам, что Буратино — артефакт, протез, копия, сценическая роль которой уже расписана. Эта странная иллюзия подлинности подтверждается и на уровне вещества существования живого и мертвого, внутренние границы которого у Буратино постоянно нарушаются и смешиваются.

Так “кукольная природа” Буратино вычерчивает множественные следы, картография которых определена их движением к своему универсальному означающему — Театру. В сумме эти коннотации обнаруживают некую сценическую сущность, которой следует Буратино, и в то же время предписывают нам особый режим чтения произведения — *чтение в театральном режиме*. Однако мы ещё не можем локализовать *сценическое* пространство театра Буратино, так как оно идентично его *жизненному* пространству. Но уже в самом начале действия-повествования происходит

внутренняя дифференциация его сценических участников. Так по дороге в школу Буратино сталкивается с котом Базилио, но через шесть страниц при встрече проказника с лисой Алисой и котом Базилио мы вдруг узнаем, что первый кот Базилио и второй Базилио — разные коты. Двоение персонажей безусловно связано с двойственностью самого произведения, в нем сопрягаются разные жанры: сказка-повествование и театральное представление, — и коты, соответственно, разнесены по разным жанровым пространствам. Второй кот Базилио был бы неуместен в качестве первого, поскольку, по правилам сценического действия, его появление на месте первого было бы несвоевременным и неоправданным в логике сценария. В дальнейшем театральный характер произведения становится доминирующим, о чём и свидетельствует последующий символический обмен азбуки (нарративная грамматика) на билет в кукольный театр (театральная грамматика).

В конце концов Буратино попадает в театр Карабаса¹⁶. Что это за театр? Может быть, именно он устанавливает предначертанный сценарий Буратино? На сцене разыгрывается история несчастной любви Пьеро. И снова мы видим весьма странное представление. Необычно здесь то, что эта история действительно произошла, а точнее, происходит здесь и теперь, переживаемая актёрами двояко: как реальность их жизни и одновременно как сценическое действие, представление, то есть, другими словами, актёры проживают свою жизнь, которая есть не что иное, как игра, или, по выражению хозяина кукольного театра, “представление моей прекрасной комедии”. Но если в этом представлении игра актёров является их собственной жизнью, то оно не является представлением — репрезентацией. *Ибо если они играют, следуя жизни, и живут, следуя сценарию, то не существует реальности, отличной от условности.* Этот аргумент ведёт нас к единственному выводу: театр Карабаса устроен как *зверинец*, где персонажи, являясь в их реальном облике, играют самих себя, чтобы репрезентировать отношение к себе.

Таким образом, пьеса сеньора Карабаса не о несчастной любви Пьеро к Мальвине, а о его собственной власти над “жизненным миром” актёров. В чём сущность этого представления? Доктор ку-

¹⁶ Я хотел бы напомнить, что Карабас — это опустившийся интеллигент конца XIX — начала XX веков, эффективно симулирующий паранойяльный синдром, отягощенный клиническим случаем несексуального садизма (хотя его любимая привычка к бичеванию может подсказать вдумчивому читателю гораздо больше).

кольных наук организует сценическое пространство как пространство надзора и нормализации через лицо деспота и семихвостую плеть, означивающие непреложную избыточность власти¹⁷. Театральное действие тоталитарного театра строится в особом режиме сигнификации власти, где актёры-знаки замыкаются в кругу властной стратегии, подчёркивающей безраздельное господство постановщика. На противоположном полюсе этого пространства назначается жертва (Пьеро), которая подвергается телесному наказанию. И хотя удары-метки косвенно говорят о нехватке власти, власть, дополняя себя на теле этими метками, получает прекрасную возможность наглядно и доступно продемонстрировать себя.

Появление Буратино в театре (мы назовем его *театром первого порядка*) вызывает радикальный разрыв между сценарием деспота и действием актёров. Они начинают жить самостоятельно, не совпадая с замыслом режиссёра. Траектория движений Буратино в этом зеркально-симулятивном мире прочерчивает линию между “условным” (репрезентация власти) и “условно-реальным” (представление о несчастьях Пьеро). Вмешательство Буратино в сценическое действие уничтожает условия сигнификации власти, наделяя его функцией реинтерпретатора по отношению к лицу деспота, разрывая и переворачивая причинно-следственные связи и таким образом разрушая театральный эффект, при котором способ разыгрывания актёром своего знака должен абсолютно следовать требованиям режиссёра-деспота. Сценическое действие театра первого порядка вырывается за границы сцены. Результатом этого была всеобщая аффектация: “Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд”¹⁸.

Несмотря на мирный потлач между Буратино и доктором кольных наук (5 золотых в обмен на тайну старинной дверцы в камерке папы Карло), с этого момента траектория бегства и спасения Буратино становится отчетливо выраженной, собирая его жизненный мир как театр иного типа. Внешне эта сборка носит характер оппозиции мегамашине сигнификации власти. Ускользание Буратино от деспотизма, вопреки и с помощью различных

¹⁷ “Густая нечесаная борода его волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку.” А.Н.Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино. — Собр. соч. в 10 томах, М.: Худ. литература — Т.8, стр.158.

¹⁸ Там же.

топосов культуры (лиса Алиса, кот Базилио, Мальвина, черепаха Тортила), с инстинктивно применяемой номадической стратегией, позволяет ему осуществить прорыв в “царство свободы, самоуправления и справедливости”, к театру за железной дверцей. Этот путь был пройден Буратино благодаря неистребимой воле к нарушению нормы.

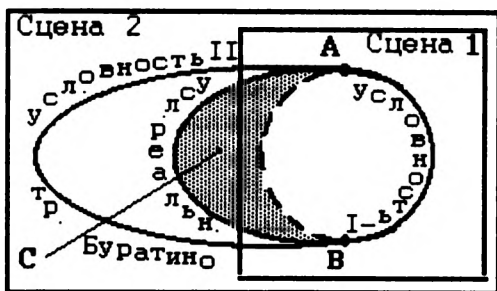
Остановимся в пределах пространства, опосредующего путь Буратино от театра первого порядка к театру второго порядка. Это пространство — Страна Дураков. Отметая сомнительные аналогии (в стране крайне разорённое и запущенное сельское хозяйство, мощный и слаженный репрессивный аппарат, полицейский способ вменения в вину — “беспаспортный, безработный и бездомный” — и т. п.), обратимся к структуре ландшафта этой замечательной страны. Соединение её границ с границами остального мира происходит по линии крутого обрыва, т. е. в низменной части глобальной геофизической складки. Пространство страны как бы опущено относительно остальной поверхности в результате неведомого тектонического сдвига. Её катастрофическая поверхность состоит из равномерных куч мусора, развалившихся домов, пересохших ручьев, болотистых прудов, т. е. налицо не только геологический, но и экологический разрыв с другим миром, нарушивший некую изначальную и естественную целостность. Ландшафт этой страны как бы разрывает и историю Буратино на две части, но в то же время и сопрягает эти части, изменив знак его судьбы на противоположный. В этом смысле траектория его роли подобна ленте Мёбиуса, стык-разворот которой образует складку Страны Дураков. Именно здесь Буратино, следуя правилу коммунистической экономики, бесславно закапывает свои золотые на Поле Чудес. Однако именно здесь же он делает решающий шаг к разгадке тайны. И хотя идея неэквивалентного обмена посрамлена, нравственная мистерия Театра торжествует: так благодаря особой психоделической мощи Страны Дураков утрата золотых оборачивается обретением золотого ключика.

Кульминацией противоборства двух театральных миров несомненно является грандиозная батальная сцена, где против Карабаса Барабаса и его полицейских бульдогов последовательно выступают птицы, звери, насекомые, земноводные. Батальный ритм, перебиваемый джазовыми атаками Артемона, организует пространство театрального действия с максимальной эффективностью, так, что мы можем опознать все признаки цирковой буффонады. И когда наконец в битву вступают старые слепые ужи, предпочёвшие бесславной старости героическую смерть,

дело оказывается завершённым: победа Буратино и его команды обеспечена. Ужи как линии ускользания и перемены событийной плоскости означивают границы и форму перехода между двумя сценами. Смена интенсивностей на пике битвы оказывается победоносной для того, кто решится прервать последовательное возрастание напряжения отчаянным трюком.

Минувя разгадку тайны золотого ключика и темноту подземного пути, войдем в чудесный театр Буратино, театр без режиссёра и насилия. Что же ставит этот новый театр? Не что иное, как “Золотой ключик, или Приключения Буратино”. И это означает только одно: мы не можем войти в чудесный театр Буратино потому, что мы его никогда не покидали. Лента Мёбиуса не прекращает производить эффект театра в театре, ситуацию вечного возвращения к источнику. Нам открывается, что траектория бегства и спасения Буратино разворачивается на сценической площадке театра второго порядка и является “психическим образом” приключений, обобщенным представлением истории жизненного мира, никогда не покидавшего театральных подмостков. Референт, действительность всегда исключены, погрузившись во тьму зрительного зала, размещённого, между тем, на сцене. В кругу яркого света остается лишь сценическая площадка театра второго порядка, где разыгрывается зеркально-симулятивный “жизненный мир” первого порядка.

Какова же в общем виде фигура отрыва и возвращения к театру первого порядка, замкнутого в пределах сцены театра второго порядка? Прежде всего, отрыв (точка А) начинается там, где актёр-знак обретает индивидуальную историю, отличную от заданной режиссёром-деспотом. Это происходит в момент пересечения с трансверсальной линией движения Буратино, позволяя разделить “жизненный мир” актёра-знака на условный и условно реальный. Затем этот условно реальный мир замыкается в рамки сцены театра второго порядка, автоматически редуцируясь к условному второго порядка (эффект ленты Мёбиуса). С момента возвращения (точка В) к театру первого порядка (театр Буратино, ставящий “Золотой ключик”) условность-1 удваивается по принципу “симуляция симуляции”, поскольку актёры театра Буратино играют самих себя в качестве актёров Карабаса, игравших, опять же, самих себя. Общий вид может быть следующим:



Обозначения:

УСЛОВНОСТЬ-II — траектория Буратино и его Жизненный мир (папа Карло, лиса Алиса и т.д.) в режиме ленты Мёбиуса;

УСЛОВНОСТЬ-I, она же УСЛОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ — траектория актёров первого порядка до и после встречи с Буратино;

С — складка, соединяющая две сцены, стык-разворот ленты Мёбиуса, Страна Дураков, топос зрителя и читателя.

Добавим еще, что эта сдвоенная структура театра Буратино абсолютно соответствует топологии эшафота со всем его ритуалом казни и вместе с тем вполне соотносима с функционально-практическим устройством зверинца, с тем лишь условием, что люди, пришедшие поглазеть на зверьё, уже никогда не смогут покинуть пределы зверинца.

Итак, по Толстому, двойная инвагинация глобальной симулятивной стратегии заворачивает в себя оппозиционные театры и раскатывает свои оболочки в виде мегамшины радикальной манипуляции возвращения к источнику, в рамках которой проект всеобщего счастья реализуется через фигуру отрыва и возвращения к театру первого порядка. Так высвечивается *“максимальная реальность”*, начала и концы которой упрятаны в *удвоенной условности* (симуляция симуляции). Полагая внутри себя множество различий того же самого, шизофренический театр Буратино создает видимость объяснения себя “из истории”, но сцена, развернувшая себя как история организует лишь пространство встречи (ландшафт складки) двух театров, редуцируя всякий раз “историю” жизненного мира к его сценическому образу¹⁹.

¹⁹ Достоинно удивления полное соответствие политического театра августа 1991 и октября 1994 структуре театра Буратино: это такой же

Идея Антонена Арто, не успев как следует утвердиться, уже торжествует: граница между театром и жизнью стерта, собственно, строго говоря, такой границы и не существует, ибо там, где работают политические стратегии ортопедического производства мира, жизнь есть театр в театре, и наоборот.

Сентябрь, 1989

театр удвоенной сцены (Кремль-Белый дом), в котором российский политический мир сводится к сценическому образу, здесь также зрители располагаются прямо на сценических площадках и тем самым оказываются участниками спектакля. Даже психотипы основных политических героев и эффектные сюжетные узлы до деталей (например, скандальная история сбрасывания Ельцина с моста) соотносимы со сказочными.

СЫН ПОЛКА: БОГ ИЗ МАШИНЫ

“Мальчик спал. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слёзы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони и глухие, хриплые звуки вылетали из напряжённого горла...”²⁰

Эти замечательные строки повести В. Катаева рассказывают о том, как разведчики находят ночью в тылу противника мальчика — Ваню Солнцева. Ваня попадёт на фронтową батарею и в конце концов останется там в качестве “сына полка”. Более чем двухлетние скитания в лесу и полуживотное существование — вот что отражают муки сновидения мальчика в фрагментационных скоростных изменениях лица. Чистое микронарративное становление в плане выражения — наиболее верный способ передачи того непрерывного становления, серии которого пробегает психическая энергия делириума и высвобождается в спонтанной мимической игре. Сон Вани не знает гомогенной суверенности, он децентрирован и несоотносим с единичным, единственным *Лицом* в качестве Субъекта. Можно было бы сказать, что долгое *единичное существование* мальчика вобрало в себя *множественность ситуаций и интенсивностей*, превышающих (нарушающих) исходную единичность и тем самым сдвигающих

²⁰ Катаев В. Сын полка. М., Русский язык, 1988, с. 12.

её с привилегированного центра субъекта изменений. Эта единичность становится одной из множества, необобщаемого и неупорядоченного: формула лесного Вани здесь всегда $n \neq 1$, но никогда не “1”, это формула постоянного отклонения от локальной индивидуации и всего того, что под ней подразумевается в строгом человеческом мире.

Такова логика *становления животным*: пребывать разнонаправленно и ситуативно вне обособленности от состояний среды, т. е. никогда не быть равным себе, локализованным, а лишь принадлежать молекулярному порядку событий, элементов, интенсивностей. И оценка результатов Ваниной лесной дегуманизации сержантом Егоровым здесь вполне достоверна и уместна: “Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок”²¹. Мир без человека, в котором пришлось обитать мальчику, находился между “своими” и “чужими”, друзьями и врагами, никогда не приближаясь к этим полюсам, никогда не принимая чью-то сторону, но всегда — в собственных измерениях — пытаюсь растворить в себе эти агрессивные оппозиции.

Лишь два антропейных рудимента ещё связывают Ваню с миром людей: оружие (большой отточенный гвоздь) и букварь, обобщённый источник сигнификации. И если первое способно в актах применения реактивировать потерянную суверенность (отнюдь не случайно Ваню преследовало желание “непреречно... этим гвоздём какого-нибудь фрица убить”), то второе, стало быть, возвращает коммуникативную связь с Другими. Эти предметы так или иначе тормозят, сдерживают дегуманизацию русского Маугли²² и не позволяют окончательно раствориться в природе; они — в свою очередь — отклоняют его от леса, чтобы затем возвратить в человеческий мир; их откровенный фаллоцентрический антропоморфизм предохраняет его от окончательного слома идентификации. Таков их тайный смысл.

Итак, лес *отпускает* Ваню, чтобы он вновь обрёл человеческое измерение — среду с контролируемыми различиями и без неоправданных сверхскоростей. Среду, фигуративно, иерархически и нормативно организованную, в отличие от природы как таковой.

²¹ Там же, с. 21.

²² Надо сказать, что это сравнение лишь номинально. Нет ничего антропоморфнее (и вследствие этого фальшивее), чем мир природы и животных у Киплинга. По существу, у него природная жизнь оказывается лишь двойником человеческой и поэтому — пародийной и симулятивной.

Разведчик сержант Егоров — в качестве Другого — входит в жизнь Вани двояко: изнутри, как пробуждающий сигнал опасности, и извне — из яркого луча электрического фонаря. Тёмная сила внутреннего (звериного) чутья заставляет мальчика молниеносно выхватить своё отточенное оружие защиты, но свет и голос извне гасят скорость этого жеста. Интенсивная напряжённость зверя сменяется соизмеримостью присутствия и обретения пространства встречи, которое включает в себя, в свои локальные границы все предшествующие фрагментации становления животным и калейдоскоп ситуативных игр, полагая им предел силою гравитации поля человеческой суверенности.

Характерно, что возвращение в мир человека с необходимостью требует от лесного Вани производства “своей истории”, создания такого биографического макронарратива, который бы линейно упорядочил хаосмос событийности, собрал его причинно и однонаправленно. При этом пробелы, сдвиги и разрывы, конкретная разнонаправленность и роение множественного подвергаются исключению, ибо микрофизика становления животным адекватно непереводима в план простого сюжетного повествования. С помощью нарратива истории мальчик прививает себя к большой социальной машине, подчиняясь её способу производства, тем процедурам, которые организуют общественный мир и весь универсум окружающей природы. Таковы первые известные нам предпосылки возвращения к людям.

Это возвращение делает Ваню открытым для социальных инвестиций, он сам становится полем человеческих возможностей, которое доселе было взорвано рядом катастроф и истощено спонтанными перекомбинациями леса. Предшествующее возвращению состояние ребёнка маркировано как болезнь, клинические признаки которой записаны на его лице и теле. Клинический образ мальчика соответствует тому фундаментальному расстройству мира, которое приписывается неразумию природы “в себе”, т. е. природе, взятой вне человеческих измерений. Возвращение же отмечено знаками здоровья и нормальности. Здесь полагается граница нечеловеческому, дистантно удерживаемому силой социального пространства “по ту сторону” принципа реальности. Усилие Ваниной памяти по производству автобиографии, инициированное человеческим сообществом, — это одновременно и усилие (“кризис”) выздоровления, усилие собирания себя в качестве человеческого существа.

Первое, что получает Ваня по эту сторону, — новое имя “пастушок”, которое предназначено обслуживать неизжитый крестьянский фантазм (устойчивый ментальный образ) взрослого окру-

жения. Заметим, что номадическая специализация, скрывающаяся за этим именем и приписанная мальчику, здесь отнюдь не случайна. Номинация как предваряющая процедура вхождения в социальное поле осуществляется в соответствии с принципом универсальной книги — букваря, грамматика которого призвана не только конституировать структуры коммуникации, связи, но и локализовать сознание референта в актах знаковой идентификации. Букварное имя — шифтер — исполняет своего носителя, вовлекает его в семантический контекст, делает возможным его знаковое присутствие в цепях сигнификации, а также — что наиболее существенно — возможность быть адресатом и отправителем в коллективном сцеплении высказываний. Ваня вписывается в символический строй и отныне должен соответствовать мощи его анонимной грамматики. Новое имя Вани репрезентирует фантазматический объект коллективной речи, т. е. имя “пастушок” удостоверяет этот объект, в то время как сама коллективная речь провозглашает его. Но вместе с именем появляется право присутствовать и участвовать в коллективном устройстве высказываний. Таким образом принятие на себя имаго имени, отождествление с ним останавливает ход трансформаций, заданный лесом, и окончательно нормализует механизм идентификации, в котором *функция Я* принимает антропоморфный гештальт.

Однако лес ещё несколько раз заявит о себе, когда в его пределах будут скрещены две несоизмеримые стратегии. Так, он перемеряется на сторону Вани, когда тот сбегит от Биденко-шкелета. Рационально-исчислимой технологии поиска опытного разведчика, которая азимутально-картографически расчленяет ландшафты леса, он противопоставит динамизм ситуативной игры: Ваня бесследно растворится в хлорофилле как его частичный элемент. И только нерастворимый человеческий предмет — всё тот же букварь! — опять выдаст мальчика социальности. Подобное, как известно, стремится к подобному.

Несомненно, что лес противостоит социальному организму, и его спор за обладание Ваней не заканчивается с его уходом к людам. Между тем мы должны, наконец, вспомнить, что социальный организм, к которому примыкает пастушок и который потребляет его поле возможностей, структурирован как *машина войны*. Коммунально-милитерное сообщество является основным пространством социализации в процедурах намечающейся реактивации человеческого измерения одичавшего мальчика, т. е. коллективные инвестиции здесь будут решающими по отношению к

приватно-фамилиарным, характерным в значительной мере для новоевропейского человека.

Ваня — мальчик. И круглый сирота. Что касается половой идентичности, то она определена героями в повествовании В. Катаева сразу и бесповоротно: глаза и чутьё разведчиков в отношении пола безошибочны даже при ночной встрече со спящим ребёнком. Однако сиротство его требует особого обсуждения. И здесь необходимо иметь в виду, что онтогенез Вани был обусловлен русским крестьянским каноном, патриархальная структура которого не соответствует структуре новоевропейской семьи. Более того, европейские фамилиарные структуры и русская коммунальность представляют собой исходную бинарную оппозицию различных типов социальности, в рамках которых складываются специфические множественные отношения социализирующей власти-силы, соответственно персонифицированной именем Отца и — психоделической структурой коммунального сообщества. Эти обстоятельства формируют принципиально различные идентификационные механизмы, производящие и удерживающие функцию Я.

Социальность новоевропейского типа транслирует себя через фамилиарные структуры, легко поддающиеся эдипальной триангуляции. Организация пространства личностного суверенитета, как основной “клеточки” социума, опирается на последовательные отождествления индивида с собственным зеркальным образом, а затем с образом Отца (для мальчика) или Матери (для девочки). Причём символическое поле зеркала, через которое новоевропейское Я обнаруживает и собирает себя, организуется законодательным взглядом Отца-ортопеда, предписывающего и гарантирующего ребенку функцию Я. В дальнейшем ментально-психическое постоянство Я воссоздаётся языком и структурой театра Эдипа (по З. Фрейду).

В отличие от европейской практики, где для идентификационной процедуры достаточной является приватно-фамилиарная структура, символическую матрицу русского Я воссоздаёт не личностная геометрия носителя Я, а *множественность отношений коммунальных сил*, социальная стратегия доместикации тела в коммунальных ансамблях, когда индивиду противостоит не просто Другой (Отец), а орда, колхоз, полк, партсобрание недифференцированных других. Социальность здесь в меньшей мере транслирует себя через семью, да и сама семья в её патриархально-коммунальном виде не может быть редуцирована к триангуляции *папа-мама-я*. Коммунальные, общинно-группо-

вые формы жизни, как правило, не позволяют конституироваться Отцу-законодателю в качестве вершины социального треугольника. В патриархальной семье существенной и своеобразной оказывается роль *Деда* — отсюда и пространный пантеон русского дедовства от Дедушки Мазая и Ленина до Дедушки Брежнева и Деда срочной службы. Здесь за ребенком надзирает отец, а за отцом — дед, редуцируя его, в свою очередь, к дитяти. Только Дед (и его субституты — Начальник, Генерал, Вождь) оказывается истинно взрослым в структуре коммунального круга. Роль Деда обязывает нас к удвоению Эдипа, к возведению его в степень, т. е. она всегда производит “Дважды Эдипа Советского Союза” (Э. Надточий). Редукция отца к ребёнку делает исходного ребёнка-Дважды Эдипа по существу безотцовщиной, *сиротой*, но в то же время и сыном, “сыном полка”.

Итак, сиротство Вани — нечто большее, чем биографический факт. В высшей степени это онтологическое явление русской культуры. Полковая коммунальность в составе машины войны через трансгрессивные процедуры не позволяет формироваться пространству личностного суверенитета пастушка. Полковое группен-зеркало, в котором отражается русский Ваня-сирота, не гомогенно — его фасетчатость делает имаго сироты фрагментарным, собирает его тело как коммунальное, а-личностное и одарённое группен-мышлением. Очевидным коррелятом между Ваниным Я и полком выступает *онтологическое сиротство русского индивида: Я усыновляется полком*.

Следовательно, в пределах коммунальных структур Ваня не должен обладать самочинностью, самоволием, самодостаточностью, одним словом, *самостью*. Все эти атрибуты делегированы Начальнику. Так коммунальные телесные ансамбли, подвергая сироту дрессуре множественного, производят нехватку, недостаточность, частичность индивида, а значит, и *неспособность его растворить своё несоответствие своей собственной реальности без привлечения массовидного организма*. Показателен в связи с этим захватывающий эпизод разведывательной операции с участием Вани, с его пленением и последующим освобождением.

В соответствии с логикой коммунальной стратегии и машины войны, Ване предоставляется возможность пройти испытание на коммунально-номадическую идентичность: пастушка берут в разведку. Разведгруппа является особым подразделением военной машинерии, ибо она обладает *сверхскоростью*. Ещё до начала боя она кардинально преобразует территорию предназначенной атаки. Разнородные ландшафты и складки, скрывающие

угрозу, разведчики разворачивают на плоскости, т. е. глубина, неоднозначность и тайна уничтожаются путём постоянной азимутальной визуализации-развёртки. Полученная плоскостная структура позволяет производить манёвры сверхскоростей, сворачивая пространство и уплотняя время, развивает успех из неожиданностей и непредсказуемости. Картографическая оптика военных действий фиксирует моментальное возникновение точек поражения и захвата, создавая необходимый военный приоритет. Поэтому не случайно, что стратегия разведчиков основывается на кочевой линии движения, самой скоростной стратегии в истории обществ. Ваня-пастушок перегоняет по территории противника старую лошадь Серко, его невидимо сопровождают разведчики и уничтожают тайны складок и ландшафтов местности, делая невидимое видимым. Таким образом, пастушkovость становится основным мотором этого движения.

Но Ваня попадает в плен. Лес, как когда-то в случае с Биденко, не может прийти ему на помощь, потому что Ваню выдают всё те же очевидные человеческие улики — всё тот же злосчастный букварь! (Определённо этот букварь требует особого анализа!) Знаки дислокации, нанесённые на его страницах, квалифицируются как знаки преступления. Они говорят сами за себя, то есть, вопреки Ване, их свидетельство — свидетельство Ваниного своеволия и самочинности. Так Ваня нарушает предшествующие каноны своего существования, как принцип леса, так и принцип коммунальной частичности: уроки леса отрицаются антропийными рудиментами, коммунальная организация — ячеством, чрезмерной самодеятельностью и самооценкой. Ваня желает быть цельным, автономным, самодостаточным; можно было бы сказать, что Ваня желает быть таким же, как европейцы, — и жестоко наказан за это.

В данной социальной констелляции коммунальность враждебна европейскости, последняя является не чем иным, как извращением человеческого существа. Приватная Эго-плоть и автономное сознание — явный источник предельного зла, т. е. фашизма: это источник той злобы, которая противостоит всему органическому (в том числе земле и лесу). Отклонение Вани от коммунального принципа карается, и орудием этой кары становится тот самый полюс, к которому направлено его безрассудное отклонение. Пастушок, “по простоте душевной”, не распознаёт в мотивах собственного поведения своего заклятого врага, но тем эффективнее и очистительнее будет последующий урок.

Такой ход событий позволяет сделать вывод, что *статуарное целое национальной машины войны может признать индивида*

*только как своё частичное включение, вне которого он остаётся необеспеченным, неавтономным телом. Коммунальность присваивает индивида, даруя ему возможность принимать её как свою сущность и убежище для идентификационной процедуры. Фигуративность коммунального тела, определяемая всеобщей милитарной стратегией, — вот то пространство, которое задаёт новую формулу Вани. Эта формула учит, что *быть русским означает быть сыном полка, коммунальным чадом, принадлежащим такому национальному гештальту, в социальной формации которого целостность не приватизируется и не репрезентируется в своей части, в своём включении.**

История Вани незатейлива, но показательна. Пережив драму пленения и радость освобождения, освоив надлежащий урок, пастушок вплотную подходит к акту инициации. Становление сыном полка, т. е. русским, наконец приобретает институциональный характер: Ваню ставят на все виды довольствия и выдают военную униформу.

Предваряющие это событие баня и стрижка волос в артиллерийском стиле представляются некой процедурой стерилизации бестиарно-индивидуального облика и приближения его к общепринятому канону. *Чужое-своё* лицо, которое затем обнаруживает Ваня в зеркале, — это лицо, помеченное стигмами коллективного тела, лицо, на котором полк отцов записывает свой социальный код, легализуя статус сына. Окончательную точку в деле инициации, как то и полагается, поставил Дед полка — капитан Енакиев. Его нарочитое “неузнавание” не по форме обратившегося пастушка имело характер окончательного превращения мальчика в полкового сына, в русского солдата. Неконтролируемая аффектация Вани, чрезмерная вовлечённость в собственные переживания здесь ещё раз подвергается нормализации порядком машины войны. “И тут только мальчик сообразил, что, занятый своим обмундированием, он забыл всё на свете — и кто он такой, и где находится, и к кому явился по вызову”²³.

Всё происходит так, словно ребёнок должен постоянно удерживать усилием памяти — непрерывно вспоминать — и наконец окончательно, всегда — до бессознательного автоматизма — “помнить”, *кто он такой*. Но как выясняется дальше, *тот, кто он такой*, есть лишь модус наличных состояний коллективного действия, ранжированная и среднестатистическая переменная, коммунальная фигуративность индивидуального лица которой

²³ Там же, с. 110.

фабрикуется и периодически сменяется по законам номадической дистрибуции.

Итак, после посещения капитана, в судьбе Вани опять происходит очередная перемена: он становится связным командира батареи. Но закон *перемены состояний* в коммунальном организме не тождественен спонтанным переменам леса, ибо, в отличие от ситуативного и разнонаправленного становления, имеет ранговый, контролируемый характер. В соответствии с этим законом, в данном конкретном случае, сын полка должен пройти и освоить все превращения, согласно номерам орудийного расчета. «Но что особенно поразило воображение мальчика... это орудие. Уже само это слово — орудие — всегда звучало для мальчика заманчиво и грозно. Оно было самое военное из всех военных слов, окружавших Ваню.»²⁴

Тема орудия — одна из центральных тем повествования, и это не случайно, поскольку фигуративность коммунального телесного ансамбля не может не соотноситься с устойчивой половой идентичностью. Именно поэтому эта тема выделяется особым эротизмом письма, эмоциональными и детальными описаниями, тонким, мастерским раскрытием душевных переживаний мальчика и его восприятия эрегированной стали.

Доминанция фаллического атрибута в составе машины войны очевидна хотя бы потому, что именно артиллерия именуется «богом войны»²⁵. «Ваня знал, что артиллерию называют «богом войны». И смутно представляя себе этого могущественного громадного бога, Ваня ясно слышал единственное слово, которое говорил этот бог: «орудие»»²⁶.

Тема орудия образует сложный узел коннотаций, которые позволяют обнаружить внутренние символические серии авторского нарратива. Так, фамилия Вани — Солнцев — отсылает к архаическому культу Ярилы в русском языческом социуме, а фаллическая символика языческого идола — к богу из машины, т. е. к пушке. Серия гелиотропа замыкается. Причастность Вани к артиллерии как бы заранее предусмотрена.

²⁴ Там же, сс. 116-117.

²⁵ Впрочем, на основе метонимического переноса так же называли и самих артиллеристов: «- Твоя взяла, бог войны, — миролюбиво сказал Ахунбаев, и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки.» (стр.18).

²⁶ Там же, стр.117.

Вместе с тем в истории культуры фаллос символизирует функции власти и наслаждения, следовательно, фалломорфный бог войны символизирует властные функции машины войны, т. е. через свои семиотические инвестиции определяет ранговую архитектуру коммунального организма. Это означает, что фаллический канон является решающим в организации человеческого измерения того поля социальности, к которому принадлежит теперь Ваня. Так замыкается еще одна серия. Становление сыном полка как бы всё ближе и ближе дрейфует к символическому источнику власти, к той “грамматике”, законы которой управляют полковым телом.

Универсальное означающее, устанавливая меру условий человеческого существования, определяет вместе с тем меру и способы удовлетворения желания частичных коммунальных включений. Несомненная *гамосексуальность* машины войны в отношении семиотики желания образует асимметрию коллективных органов машины, либидозный код которой представляет собой лишь метонимию социального кода. Так абсолютной неделимой фаллической инстанции соплагается *обобществленный анус*: коллективное поле приложения власти. Поэтому, если Ваня имеет запрос в полковой (отцовской) любви, то он обязан осуществить принятые для милитерной коммунальности процедуры, чтобы удовлетворить свое желание.

Коллективное обслуживание орудия даёт Ване в связи с этим существенный жизненный опыт. Ваня начинает понимать, что фаллическая мощь артиллерийского орудия запускается сложной супплементарной системой, состоящей из номерных (частичных, но обобществленных) индивидов. Технологическая схема, которой следует обслуживающий персонал, детерминирует поведение и тактику последнего, собирает на собственной основе совместный организм соответствующей интенсивности и скорости.

В горизонте социального кода за этим стоит принцип коммунальной сборки на основе фаллической функции власти: *власть является базовой технологической схемой, структурирующей социальный организм, т. е. он организуется так, что в результате супплементарной деятельности исполняет и утверждает власть*. Символическая функция фаллоса здесь является тем стержнем, вокруг которого собирается (соположенным образом упорядочивается) коммунальный — анальный — космос.

Процесс нарастания напряжения коллективной артиллерийской деятельности описывается В. Катаевым в ключе откровенно сексуального дискурса. Обобщенная эрекция, охватившая пушечно-

человеческий организм, передается и Ване, когда он наконец получает спусковой шнур: “Он сжал его с такой силой, что косточки на его кулачке побелели. Казалось, никакая сила в мире не могла бы теперь вырвать у него эту кожаную колбаску с колечком на конце. Сердце мальчика неистово колотилось. Одно лишь чувство в этот миг владело его душой: страх, как бы не дать осечку.”²⁷ В результате коллективный военный эрос находит свое экстатическое завершение в оргазмическом финале эпизода: “Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня. В голове зазвенело. И по дальнему лесу пронёсся шум Ваниного снаряда, улетавшего в Германию.”²⁸

Заметим вслед, что шум Ваниного снаряда покрывает лес и на какое-то мгновение собирает его хаосмос в однородно структурированное пространство посредством резонанса и линии скольжения. Но эта человеческая игра-присутствие действует лишь мгновение, по истечении которого лес остаётся возвращённым самому себе, своей свободной неопределенности и разнонаправленности.

Наиболее впечатляющим эпизодом в дальнейшем повествовании является картина боя и описание в ней смерти капитана Енакиева. Без сомнения, Ваня и прежде знал, что такое смерть, уже как годы она была его чуть ли не повседневной спутницей. Но Катаев именно в финальной части своей повести особенно детально, даже излишне натуралистически, сводит Ваню лицом к лицу со смертью, ибо последняя здесь достигает центральную фигуру человеческого универсума, фигуру, символическое значение которой имеет субстанциональное значение для формации Ваниного мира. В качестве могучей враждебной — нечеловеческой — силы смерть подавляет аффектацию сына полка, и он стоит, окаменев, перед телом капитана — бога из машины войны, явившегося из огня и грохота и умершего в сопровождении этих же стихий. “Он неподвижно смотрел на капитана Енакиева, и чем больше он на него смотрел, тем больше ужасался тому, что видит.

Вся аккуратная, ладно пригнанная шинель капитана Енакиева была порвана и окровавлена, как будто его рвали собаки. Шлем валялся на земле, и ветер шевелил на голове капитана Енакиева серые волосы, в которые уже набилось немного снега.

²⁷ Там же, стр.131.

²⁸ Там же, стр.132.

Лица капитана Енакиева не было видно, так как оно было опущено слишком низко. Но оттуда всё время капала кровь. Её уже много натекло под лафет — целая лужа.

Руки капитана Енакиева были почему-то без перчаток. Одна рука виднелась особенно хорошо. Она была совершенно белая, с совершенно белыми пальцами и голубыми ногтями. Между тем ноги в тонких старых, но хорошо вычищенных сапогах были неестественно вытянуты, и казалось, вот-вот поползут, царапая землю каблуками.²⁹

Из капитана Енакиева голубые ногти смерти создают *нечеловеческое подобие человека*; воображаемые мальчиком злые собаки смерти, являясь модусом человеческого мира, несмотря на это, действуют в конечном итоге в пользу леса, в пользу того беспрецедентного опыта, которым когда-то обладал Ваня (вернее, надо бы сказать, *который когда-то обладал Ваней*). Мир претерпевает трансформацию, он переструктурируется в направлении утраты человеческого измерения, “утраты Другого”. И это смертельное превращение мира — бога этого мира — избавляет Ваню от всего того, что в последнее время организовывало социальную близость и родство: “Ваня смотрел на него, знал наверное, что это капитан Енакиев, но не верил, не мог верить, что это был он. Нет, это был совсем другой человек — неподвижный, непонятный, страшный, а главное — чужой, как и всё, что было в эту минуту в мире вокруг мальчика.”³⁰

Не ужас, не страх — главное переживание потрясённого мальчика; глобальная чуждость человека и его мира в зеркале смерти — вот что полностью охватывает Ваню, вот что вызывает настоящее смятение. И как неизбежный результат этого переживания — неверие в подлинность человеческого мира. Двойственность генеалогии сына полка в данный момент в очередной раз меняет свою полярность: лесной Ваня внезапно обнаруживает неестественный, неподвижный, непонятный камуфляж Вани человеческого. Сбрасывая эту искусственную оболочку, смерть обнажает континуальность мировых превращений, где модус социального бытия оказывается только частичным — частным — случаем более всеобщей семиотики интенсивностей.

И все же эта беспредельная чуждость человеческого мира хотя и травматична, но не убийственна для лесного Вани, она поражает в нём лишь то, что возводило его в ранг причастности к структуре социальности, к машине войны, к фигуративности комму-

²⁹ Там же, стр. 158.

³⁰ Там же.

нального тела. Смерть бога сделала мир человеческого пустым, но, опустошая его, она же — освобождает, если только “человек” способен выдержать эту распрямляющую свободу в реактивации животно-соматического опыта.

Ряд последующих событий опять производит перемену в судьбе сына полка: его отправляют в суворовскую школу — очередную подструктуру коммунальной социализации. И первое, с чем сталкивается там Ваня, — это новый принцип организации социального поля, вернее, глобальная технологическая схема осталась той же, обновился лишь фаллический субститут сборки коммунального организма: им стал медный горн. “Здесь всё совершалось по трубе. Труба управляла невидимой жизнью этого дома. Труба вдруг вызывала слитный шум сотен голосов и шарканья сотен ног. Она же водворяла... мертвую тишину... А один раз на второй площадке лестницы появился маленький рыжий мальчик... Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба не велела ему выходить сюда в это время...”³¹ Звук горна кодифицирует и территориализует (полагает измерения, границы и структуру) коммунальную телесность, создает её молярные потоки, определяет коллективное движение и остановки, скорость и последовательность действий, разрешает и запрещает.

Под властным покровительством трубы Ване предстоит пройти и освоить новые частичные функции и новые этапы приближения к сакральному локусу архитектоники и контроля коммунального пространства. И в этом ряду его уже ждут — в качестве предписанной возможности — подаренные ему артиллеристами капитанские погоны погибшего Енакиева. Тем самым идентификационные каноны уже окончательно установлены, а судьба — бесповоротно предрешена.

Заканчивается повесть на манер рондо — тем, с чего она и началась, — ещё одним сном Вани. Удивительно, что несмотря на усиленную доместикацию, во сне пастушок как бы освобождается от деспотически-нормализаторского действия своего социального окружения. Его состояние вновь обретает форму спонтанного становления, фрагментационных пробежек по сновидениям; социальные инвестиции трансформируются в разносторонних сериях, разрушая возможность гомогенной централизованной сборки. Опять лицо мальчика беспрестанно меняет своё выражение: это лес, он не отпускает Ваню, он входит в его

³¹ Там же, стр.162.

сны своим ситуативным роением, он предлагает свои заманчивые неупорядоченные игры, он настаивает на Ваниной формуле $n \pm 1$, он возвращает Ване его собственную *солнечную* метафору. Лес ещё раз направляет его к элементарной свободе. Лес принимает ещё одну, кажется, последнюю попытку.

“Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещенные звездами, блестели и дымились, словно были натерты фосфором. Ели, стоявшие по колено в сугробах, были громадно высоки.”³² Сновидение Вани блуждает между деревьями, а сам он стоит у траурного изголовья, здесь вместе с елями, снегом и звездами он прощается с капитаном Енакиевым, с тем, кто одним из первых силою власти простирал над Ваней Солнцевым человеческое поле суверенности. Социализирующий знак машины войны — *бог из машины* — мёртв. Временами Богу надлежит быть мёртвым для взаимной обратимости миров, бинарно разъединённых и противопоставленных человеком.

Теперь же мальчик вновь претерпевает становление лесным элементом без обязательств, значений, судьбы и фаллической привязки. Лес не имеет поработочающей технологической схемы, он открыт чистому становлению и напрямую сводит элементы мира, устраняя деспотизм универсального означающего. Это мир без посредника и макронарративных ритуалов, пребывать в нём — следовательно — отсутствовать, т. е. быть не схваченным координированным планом насилия, не принадлежать гуманистическому садизму машины и содомии власти, но растворяться в условиях молекулярного снования множественностей.

Но вот сновидение магически изменяет свой характер: “Внезапно какой-то звук раздался в темной глубине леса.” То, что этот звук не принадлежит а-порядку леса, вполне очевидно. Это голос социального кода; он территориализует и устанавливает связь, пробуждая группен-мышление Вани и принуждая его к возврату. “Ваня сразу узнал его: это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его.” И Ваня вынужден подчиниться деспотизму трубы, отталкиваясь от леса, переопределяя свою формулу, которая тут же приобретает вид $F(n \pm 1)$.

“И тотчас всё волшебным образом изменилось. Ели по сторонам дороги превратились в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал. А дорога превратилась в громадную

³² Там же, стр.166.

мраморную лестницу, окруженную пушками, барабанами и трубами.”³³

Конверсия леса в полк стариков-генералов и солнечно сияющий зал окончательно отбрасывает любые неконтролируемые трансформации и заключает Ваню в строго структурированное пространство. Теперь ему уже не вырваться отсюда — так внушительны и многочисленны фаллические субституты власти, взявшие его в плотное окружение. А там — выше по лестнице — его уже схватил цепкой рукой старик Суворов и, фальшиво взывая к Ваниной смелости, потащил кверху.

Ноябрь, 1991

³³ Там же.

ПУШКИН: ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ

Основной парадокс классического психоанализа заключается, пожалуй, в том, что, создав ключ к раскрытию сложных травматических комплексов психической жизни, он тем не менее сам оказался подверженным комплексу. И этот комплекс — комплекс собственного рождения. Психоанализ в качестве науки возник, в отличие от большинства прочих наук, при гениальном усилии одного человека — Зигмунда Фрейда. Если другие науки претерпели длительное историческое становление и их легитимация осуществлялась не один век и не одной сотней ученых, то психоанализ имеет конкретное авторское происхождение и сейчас ему не исполнилось ещё ста лет. Отсюда чрезвычайные усилия Фрейда и его последователей по учреждению психоанализа как такового в качестве науки. Достаточно просмотреть терминологически-понятийную историю становления психоанализа, чтобы увидеть множественные, по-мичурински настойчивые попытки привить последний к могучему древу позитивной науки, привить собственную генеалогическую ветвь к его легитимирующему стволу. Во многом эти попытки имели формальный и даже фиктивный вид. И всё же более или менее достаточно обоснованным концептом Фрейда была *психоаналитическая теория невроза*, но и эта теория носила в то время существенный новаторский характер, кардинально расходясь с классикой конца XIX — начала XX веков. И лишь только одна психоаналитическая линия могла генеалогически подтвердиться в научно-историческом ракурсе: *толкование сновидений*. Фрейд в этом отношении проводит глобальную работу: он исследует представления о сновидениях от античности до начала двадцатого

века, пытаясь показать, что его способ интерпретации имеет солидный исторический и теоретический фундамент.

Вторым симптоматическим мотивом психоанализа являлось представление о собственном прорыве к *максимальной реальности*, к предельному истоку человеческого поведения, к скрытому мотору его поступков, его психической жизнедеятельности. И то, что эта максимальная реальность оказалась чрезвычайно биологизированной, физикалистской, отнюдь не случайно. Подводя объяснительный принцип под психические процессы (пусть даже в их клинических проявлениях), психоанализ упирается в биологию потому, что он пытается своей концепцией бессознательного полностью покрыть мотивационную сферу, предельным горизонтом которой остаётся только биологическое бытие человека. Если же признать, что это бытие имеет *культурный характер*, то тайна человека остаётся всё ещё нераскрытой, а психоаналитические усилия в её познании — неокончательными, т. е., по существу, во многом безуспешными.

Но вернёмся к первому случаю. Толкование сновидений, тщательно проработанное в одноимённой книге Фрейда, безусловно, имеет собственную богатую родословную. Более того, можно обнаружить превосходные образчики интерпретаций снов, осуществлённые совершенно в психоаналитическом духе, но появившиеся задолго до Фрейда. Значительный интерес здесь представляет русская культура, всегда с особым пристрастием относившаяся к феноменам сновидения. Мало того, все российские женщины дворянского сословия — начиная с середины XVIII века — имели в постоянном пользовании “Сонники”, толкующие те или иные образы снов (особенно популярен был “Сонник” Мартына Задеки). Тему сна не обошли ни русская классическая музыка, ни живопись, ни литература.

И наиболее “психоаналитичным” в этом отношении был, конечно, А. С. Пушкин, хотя мы вместе с тем вынуждены воздать должное “психоаналитическому” гению Гоголя, Чернышевского, Достоевского и Толстого.

В середине пятой главы “Евгения Онегина”, т. е. в центре всего произведения Пушкина, дано замечательное описание сна Татьяны Лариной, пронизанного скрытыми девичьими предчувствиями, инфантильными фобиями и смутным эротическим томлением. Это сновидение Татьяны затем развернется в явное содержание и основную сюжетную линию пушкинского повествования. Таким образом, конец пятой главы и начало шестой построены как толкование предшествующего сновидения, как

некая психоаналитическая процедура, устанавливающая связи между образами сновидения и реальным планом событий в рамках литературного сюжета.

Последовательность картин сновидения имеет следующую структуру: 1) Татьяна в лесу, ведомая медведем; 2) буйный пир в шалаше; 3) сексуальные притязания Евгения; 4) ссора Онегина с Ленским; 5) убийство последнего. Структура последующего нарратива: 1) праздник именин у Лариных; 2) приезд Ленского и Онегина; 3) флирт Онегина с Ольгой; 4) вызов на дуэль; 5) смерть Ленского. На первый взгляд эти структуры находятся в достаточно адекватной корреляции и лишь только более внимательное рассмотрение показывает некоторые существенные различия в топологии общих элементов. Это говорит о том, что Пушкин не следует простой развёртке повествования, калькирующей последовательность сцен сна, а переструктурирует его в логике интерпретации образов сновидения, противопоставляя тем самым внутренней образной хронологии сна интерпретационную логику повествования.

В рамках этого различия Пушкин не подвергает никакой интерпретации в канве реальных событий самый первый и наиболее интригующий образ сновидения — медведя³⁴. Несомненно, что этот образ представляет собой специфическое *сужение*, образовавшееся не только в самом облике, но и в функциональном назначении медведя. Действительно, кто и что работает в этом образе сновидения?

Символика начала сновидения свидетельствует о том, что Татьяна ищет свидания — конечно же — с Онегиным. Бурный, незамерзающий ручей (“досадная разлука”) на её пути — это сумма неотменяемых обстоятельств, препятствующих соединению с любимым³⁵. В качестве последней надежды два берега соединяет

³⁴ Мы опускаем фольклорные и культурологические толкования этого образа, поскольку нас интересует образ медведя не сам по себе, а психологическое и функциональное его значение — в совокупности с другими образами сновидения — для скрытой, бессознательной мотивации желаний Татьяны.

³⁵ А. Потебня исчерпывающим образом описал роль переправы для свадебной символики (А. Потебня. Переправа через реку как представление брака. “Московский археологический вестник”, 1867-68, т. 1). Но вывод о “нелюбимом суженном, уготованном Татьяне”, к которому он приходит в результате анализа её сна, представляется мне более чем сомнительной экстраполяцией характера сновидения на

шаткий, ненадёжный мосток, который Татьяна никак не может преодолеть самостоятельно. И вот здесь появляется чудесный зверь, недвусмысленно предлагающий свою помощь. Преодолевая смятение и страхи, девушка всё-таки принимает эту помощь, но затем — бег-ускользание от медведя. В конце концов, выбившись из сил, Татьяна падает-таки в устрашающие объятия зверя. И тот несёт её, “бесчувственно-покорную”, к шалашу в дебрях леса “погреться” у своего “кума”.

Юрий Лотман в своих знаменитых комментариях к “Евгению Онегину” даёт великолепные, но чрезвычайно рафинированные культурологические толкования этого эпизода, местами граничащие с неоправданной дистанцированностью от сюжетных перипетий, психологических реалий и конкретных переживаний персонажей³⁶. В целом же в своих комментариях ко сну Татьяны Лотман склоняется к его прототипии с сюжетами о героеразбойнике и святочных отношениях гадающей “на сон” девицы с “нечистой силой”. Объяснительный потенциал свадебного обряда хотя и заявлен комментатором (вслед за А. Потебней), но остаётся фрагментарным и маргинальным по отношению к указанной прототипии.

Между тем события первой части (и во многом последующих частей) сновидения абсолютно тождественны ритуалу русского свадебного обряда: *умыканию невесты*. Согласившись подать руку медведю у ручья, Татьяна тем самым определила этот обряд как *умыкание невесты по сговору*, т. е. на добровольной основе. Обычно “кражу” невесты осуществлял “дружка” — ближайший поверенный в делах жениха (зачастую похититель наряжался в вывернутую наизнанку шубу). Ближайшим поверенным Онегина в ту пору мог быть только Владимир Ленский. Таким образом, разгадка проста: медведь — это Ленский.

Но между тем все коннотации сновидения говорят, что это не так. Вспомним: в снях медведь внезапно исчезает; Татьяна, подсматривая в дверную щёлку за пирушкой монстров (= свадьба с ряжеными), медведя там не видит. Онегин заправляет пиром, хотя именно “дружка” (Ленский, или медведь) должен быть церемонимейстером свадьбы. Дальнейшие события значительно ускоряют свой ход. Между Онегиным и Татьяной — дверь. (Символика двери достаточно общеизвестна, чтобы здесь останавли-

чрезвычайно удалённую (и сюжетно, и ситуативно) перспективу замужества Татьяны с уважаемым ею, но нелюбимым генералом.

³⁶ См.: А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах. Комментарий Ю. М. Лотмана. М., АТРИУМ, 1991, сс. 486-497.

ваться на ней.) Евгений решительно подходит к двери, приводя девушку в неопишуемый страх и трепет, и сильным толчком открывает её: перед взорами “адских привидений” предстаёт “дева”. Сонм ужасных монстров притязает на Татьяну, но Онегин грозно провозглашает: “Моё!” И опять-таки эта процедура “приватизации” невесты соответствует обрядовому ритуалу свадьбы. Дальнейшее только подтверждает свадебную архитектонику сна: Евгений укладывает Татьяну на “шаткую скамью” (символ кровати, покачивающейся ладьи любви, но в то же время — *шаткость* означает и неуверенность, опасность, психологическую и законную необеспеченность), и его последующие намерения вполне очевидны.

Но что означает возглас Онегина “моё!”, применённый лингвистически в среднем роде к женщине? Почему не “моя”? К чему относится этот средний род? На овладение чем он указывает? Грамматически с ним можно соотнести *только один* частичный “объект” Татьяны. Этот объект притязания-присвоения среднего рода — *тело* Татьяны. В сновидении Татьяны Онегин — по принципу проекции — притязает на её плоть, в соответствии с тем, что и сама Татьяна стремится быть объектом мужского желания. Во сне нет и следа того духовного измерения, которое так предпочтительно характеризовало чувства Татьяны в повествовании.

Но намерениям Онегина не суждено было осуществиться. Стремительное вторжение Ленского, Ольги и света прерывает исполнение плотского желания. Онегин, естественно, бранит “незваных гостей”, и это обстоятельство — этот бранный оборот речи — окончательно отбрасывает наш первоначальный вывод о том, что за фигурой медведя стоит Ленский. Ленский, *будучи незванным на эту свадьбу*, не мог быть и умыкателем невесты.

Медведь хранит свою тайну. И тем неразрешимей загадка, чем больше мы будем заняты ответом внутри толкований, предложенных автором романа. И не потому ли это происходит, что тайна медведя внетекстуальна? Другими словами, потому, что образно-функциональное назначение медведя принимает на себя сам автор: сводя своих героев в макронарративе романа, он ещё раз сводит их в микронарративе сна. Пушкин претерпевает становление животным, чтобы войти в повествование, в сон Татьяны, как помощник и как сообщник, т. е. как позитивная демипургическая сила вне текста, включающаяся там, где образуются негативные разрывы текста, где повествование, казалось бы, должно остановить свой ход. Пушкин-медведь оказывается специфическим гарантом дальнейшего движения интриги.

Итак, вот новая расстановка: Татьяна — “трепетная лань”, Онегин — вождедеющий повеса, Пушкин — медведь, а Ленский — “незванный гость”. Обратите внимание, Ленский выведен за пределы интимного круга, и его ссора с Онегиным вполне может быть свадебно-логической ссорой “дружки” с женихом из-за нарушения ритуала свадьбы, из-за лишения его приоритетного места в свадебной — и шире — в любовной истории. По логике (“по правде”) этой истории, Ленский-дружка не только претендент на умыкателя невесты, церемониймейстера пира и на осуществление дефлорации, если жених не может её произвести по тем или иным причинам, Ленский в своей обрядовой ипостаси как бы гарантирует законность, праведность свадьбы. И сон Татьяны, исключаяющий Ленского в этой важнейшей роли, — это сон о бесовской, несправедливой свадьбе, о свадьбе “вопреки”.

Сгущение и смещение сновидения в ролевых функциях образов говорят нам, что Ленский остаётся в вытесненном желании Татьяны и работает там как *третий термин оппозиции* Евгений-Татьяна, невидимый, исключённый, репрессированный, но изначальный и определяющий. Действительно, не являлся ли Владимир наиболее подходящим по своему духовному складу и характеру Татьяне? Очевидно, да. Но именно он сделал выбор не в пользу Татьяны. То, что его увлекает младшая дочь Лариных, уже нарушает традиционную русскую ситуацию последовательной выдачи дочерей замуж. Безусловно, что Татьяна — на фоне чрезвычайной редкости женихов в деревне — была внутренне травмирована выбором в пользу более поверхностной и легкомысленной Ольги. Последующий решительный отказ Онегина как бы продолжил дело Ленского, удваивая травму. В сновидении Онегин убивает Ленского; не потому ли сон сводится к этому роковому финалу, что для Татьяны в сложившейся ситуации он был *психологически* предпочтительнее всего? Не потому ли происходит убийство, что оскорблённая Татьяна бессознательно *желала смерти* Ленского? Как способа отмщения и создания решающей причины для развязки невротического узла, окончательно завязанного Онегиным. Двойной мести — и Онегину, и Ленскому; для того, чтобы причина развязки заключалась не в какой-то физической ущербности или духовной убогости самой Татьяны (а иначе почему же она была дважды отвергнута?), а терапевтически смещалось на такое существенное событие, после которого желанная близость с Онегиным фактически стала бы невозможной в контексте провинциальных этических норм (не могла же она встречаться с убийцей жениха родной сестры!). И Онегин впоследствии сам сформулирует эту доселе скрытую

причину: “Ещё одно нас разлучило... Несчастной жертвой Ленский пал...” Слово сказано, силлогизм замкнулся.

Но если во сне Татьяна ставит себя в центр событий, в центр мужского внимания, то в реальном пушкинском повествовании не Татьяна, а Ольга оказывается центром трагической интриги. И это противоречие-несоответствие не случайно: за границами сновидения Татьяна предпочитает быть скрытым двигателем событий, тайным, но могущественным двойником Ольги. Ведь реально-повествовательная причина ссоры Онегина и Ленского в Татьянин день не Ольга, она оказалась лишь *поводам*, в котором находит выход досада Евгения на “трепетный порыв” “девы томной”, ставящей его в дурацкое положение в окружении, к которому он хотя относится и скептически, но где не желал бы стать предметом глумливых сплетен и пересудов.

Такова Татьяна; находясь в центре авторского повествования, она ускользает в тень, за кулисы, в невидимый центр истинного сцепления событий и страстей; располагаясь на сигнификативной поверхности, она, как метафора, расслаивает её, чтобы скрыться в глубине.

Даже этот весьма краткий анализ сна Татьяны показывает, что Пушкин с истинно психоаналитической проницательностью смог построить на фундаменте бессознательных желаний и травматических комплексов наиболее значимую — центральную — часть интриги в “энциклопедии русской жизни”, опередив в этом искусстве почти на столетие самого отца психоанализа. Но надо отдать должное и Фрейдю, который считал, что именно литература наиболее всесторонне исследует психическую жизнь человека. Свою задачу он видел как раз в переводе этого художественного исследования на фундамент позитивной научной терминологии и выверенного концептуального обоснования, что он и попытался осуществить в знаменитом *Traumdeutung*.

Февраль, 1992

БАБА* **НЕ СУЩЕСТВУЕТ**

Если бы у бабушки был х.,
то она была бы дедушкой.

Русско-татарская поговорка.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: КОНЬ, РУССКАЯ БАБА, ТАТАРСКИЙ ДЕД

Самым сущностным животым для туранско-номадических народов был конь, и не только потому, что он был решающим средством жизнедеятельности. С конем были связаны почти все основные культурно-символические генезисы, ментальные фигуративности и социальные картографии этих народов. Символические значения коня намного превосходили значения как групповой организации, так и домашнего очага. И если бы построить иерархическую пирамиду значимостей, то конь — наряду с вождями и божествами — занял бы самую верхнюю позицию³⁷.

На самом нижнем уровне в этом рейтинге оказалось бы место женщины. При этом необходимо отметить, что номадическая женская топология не была организована бинаризмом полов.

* Этот проект исследования был задуман совместно с Эд. Надточием, но частично реализован пока только автором.

³⁷ Высшей степенью похвалы считались выражения “умный, как конь”, “выносливый, как конь”.

она не конституировалась в оппозиции к мужскому началу, и её ориентировочную среду составляли малочисленные хозяйственные предметы, одежда и столовая утварь. Несомненно, что женщина участвовала в обслуживании мужчины, детей и животных, но её участие носило не статусный, а предметно-функциональный характер. Даже то, что она самостоятельно двигалась, обладала генитальной чувствительностью, родовой плодовитостью и могла говорить, не выводило её из сферы вещной маркированности. И в лингвистическом поле имя женщины то и дело совпадает с именем вещей — так, она зачастую носила имя *скребка* для чистки коня. В современной Монголии женщину чаще всего называют “кухон” (от слова “кухня”), т. е. опять-таки по её предметно-функциональному назначению.

Могучий и быстроногий конь для татарина имел несоизмеримую ценность по сравнению с женщиной, на втором же месте для него было оружие и походное конское снаряжение. Логика номадической дистрибуции через силу и захват могла признать женщину только в качестве трофея в ряду других трофеев, в качестве очередной добычи, значимость которой, как это всегда бывало для кочевой машины войны, непостоянна и преходяща.

Что же касается её физиологической способности к продолжению рода, то и здесь номадическая женщина была, по существу, поражена в правах. Эта способность в культурном номадическом ареале отчуждалась от женщины, поскольку родовым статусом и производящим началом обладала не баба, а *баба́* — родовой дед³⁸ (именно с помощью его андрогинных изображений — в виде многочисленных каменных истуканов — осуществлялась территориализация освоенных степных пространств). И в свете этой этимологии, нам приходится только гадать, кто же подразумевается под выражением “русская баба”? Не соединила ли в себе *русская баба* славянскую женщину европейской ориентации и туранского деда-баба́?

Можно долго спорить о совместимости туранско-номадического типа социальности с русско-славянским, — да ещё отягченным европейскими метастазами, приукрашенными византийским православием, — о их позитивном или негативном синтезе, взаимодействии или взаимовлиянии, но то, что этот тип социальности оказался одним из источников российской цивилизации, отрицать невозможно. И сегодня многое из того, чему наследует наша современная культура, безусловно, обладает номадической

³⁸ Ср.: *baba* — *тур.* “отец”. Одна из угроз непослушному ребёнку: “А вот тебя дед-бабай заберёт!” *Бабай* (*babai*) — отец рода, дед.

генеалогией. Весь вопрос в том, как работает эта гетерогенная складка, каков механизм её сопряжения и каковы исторические перспективы такого рода мульти-сиамизированных культур?

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Может быть, все дело во времени. С точки зрения этнокультурологии, способ исчисления времени является наиболее надежным культурным маркером различия: солнечное или лунное время, атомное время, степное время. Если первое — это исчисление визуального количества времени, второе — невидимого качества, то третье — *пространства времени*. Степные часы (не путать их с юртой — циклическими часами для светлой, т. е. по-европейски дневной, части кочевой жизни) разделены на тридцать шесть пространственных, пастбищных зон. Если европейская баба беременна девять месяцев, то татарский дед — двадцать семь пастбищ. На четырнадцатом пастбище номад, если он богатый, ставит ему каменное родовое изваяние — поэтому каменный баба всегда с раздавшимися формами, всегда с пузцом (ведь по солнечному времени он уже на пятом месяце). Степные часы не только исчисляют пространство времени, они сами находятся в пространственном движении, они охвачены дромоманией, они релятивны и никогда не локализованы в механизме. Их мегамашина — степь, табуны и взаимосмещение.

Европейская баба зачинает ребенка, как земля — семя; беременность *оседлала* ее, под тяжесть плода баба *осела* — такова этимология оседлости. К баба дитя приходит на кочевом перегоне — оно в пути, оно идет через двадцать семь пастбищ и наконец приходит, чтобы скакать, продвигаться дальше вместе с родом-ордой.

Русская баба волею судеб оказалась на линии совмещения гетерогенных исчислений времени, где темпоральный момент приобретает “невозможную” эшеровскую топологию, которая тут же начинает придавать любым уровням конституирования форму *шиворот-навыворот*. И ее родильное бытие отныне протекает в катастрофическом измерении. Она не зачала — она забрюхатела (как кобыла)³⁹. Но это та кобыла, которая скачет на одном месте сразу в двух направлениях, ведь она *прикреплена* к земле, т. е. к солнцу, к циклическому времени на локальном пространстве, и

³⁹ В ультрасовременной терминологии “забеременеть” обозначается как “залететь”.

отпущена по кочевой линии. И как следствие разнонаправленного бега на месте — она растрясает себя. Ей больше теперь подходят другие символические ряды, например, *вулкан, землетрясение, падучая, истерия*. Она принадлежит парадоксальному *вертикальному* номадизму, и свой плод она извергает. *Извержению* способствует *изверг*.

Отнюдь не случайно для отатаренной степными часами русской солнцеворотной бабы то обстоятельство, что основным оператором ее родовых претензий-возможностей в качестве превентивной практики закрепляется аборт. Аборт — это прерывание временной аномалии на девятом пастбище, на четвертом месяце уже будет поздно. В этом (пространственно-)временном парадоксе нет движения круга (или точки) по линии: здесь под терминами *прошлое* или *будущее* понимается *уже поздно* или *еще рано*. Ось времени отсылает не вперед или назад, а сикось-накось, *трансверсально*. Что удивительным образом соответствует гуссерлианской диаграмме внутреннего сознания времени, с той лишь разницей, что континуальность протекания в нашем случае напрочь отсутствует: длительности полны разрывов, фрагментированны и несостыкованны. Само время — временно⁴⁰. Переживание не длится, а надрывается.

Аборт — искусственный (от слова “искусство”) выкидыш, изначная практика⁴¹. Его роль для разметки различных исчислений времени, а значит — различных генеалогий, невозможно переоценить⁴². Он — метка столкновения различных социокультурных мотивов появления потомства и, следовательно, всех тех макрокосмических символизмов, которые сопровождают эту архаическую и в то же время постоянно актуальную процедуру.

К тому же аборт в России является одним из самых существенных стигматизирующих способов производства женской топологии как таковой. Если мальчик превращается в мужчину на стадиях созревания и идентификации под знаком кастрации, то

⁴⁰ Вульгарно, но точно эта временность зафиксирована в общенародном стишке: “Если вы беременны, не пугайтесь — временно. Если не беременны, это тоже временно.”

⁴¹ Женщины, характеризуюя отечественное производство аборта, чаще всего говорят: “Как будто матку наизнанку вывернули.” (См. по этому поводу очень содержательную работу Т. Савучевой “К социологии женщины”. М., Медицина, 1989, с. 186.)

⁴² Даже сегодня, в эпоху презервативов, спиралей и противозачаточных таблеток, количество абортов в России остается фантастически огромным — до 4,5-5 миллионов в год.

девочка становится женщиной в момент производства аборта (в этом отношении менструальный цикл является не более чем метонимией аборта⁴³). Ибо последний есть единственный (хотя и сугубо репрессивный) маркер женской специфики, не распространяющийся на мужчину. Это то, что принадлежит только женщине и чему, в свою очередь, принадлежит она.

Лишь по аналогии комплекс кастрации может быть сопоставлен с производством аборта. Угроза кастрацией временится из будущего, она никогда (или почти никогда) не становится актом свершения, актуализированным настоящим. Поэтому время мужчины — половое время — имеет хайдеггеровскую формулу. Оно принадлежит горизонтально-осевой линии и временится из будущего. Напротив, женское время — это время непреходящей актуальности, маркируемой производством аборта и установлением временной линии сикось-накось. Аборт вводит топологию шиворот-навыворот (и вводится ею же). Эти онтологические различия говорят о том, что и женское время, и мужское не имеют общего эквивалента, они принципиально неконвертируемы. Их совместным (но необобщающим) знаменателем является линия складки, сопряжения гетерогенностей. Татарский баба — вот истинное генеалогическое единство двух половых российских временений, но в контексте уже сложившейся интерпретационной культуры номадическая фигуративность времени никогда не обладала каким-то особым “объяснительным” преимуществом перед другими исчислениями в силу того, что находилась к ним в социальной конstellации не в доминирующем, а симбиотически-створочном отношении.

В этом сложном временном узле на мужской оси времени женщина не существует в качестве одного из начал культуры: она исчезает для мужчины там, где она появляется в качестве женщины как таковой — в моменты менструальных циклов, во время абортотворения или любых иных изначальных репрезентаций.

Итак, *истошность (надрывность) переживания, прерывание беременности, шиворот-навыворот и сикось-накось* — основные парадигмальные женские практики на линии сопряжения гетерогенных типов социальности. Они конституируют женский мир в “телесно-дидактических” (М. Рыклин) кодах, ориентация и выживание в котором, его “прочтение” возможны только на

⁴³ Не случайно *отсутствие* менструации указывает на беременность, т.е. на фактор приближающегося аборта, клинического Ereignis, которое уже не нуждается в своей частичной репрезентации и поэтому отменяет её.

основе телесного опыта. Поведение, построенное по чисто рациональному схематизму, в данном случае крайне опасно и воспринимается окружающими как вид душевного помешательства. То, что называют в Европе здравым смыслом, здесь имеет значение органической (телесно-соматической) аргументации. Сцепление силлогизмов этого “смысла” имеет не логическую, а физио-логическую природу. Прекрасной иллюстрацией этих специфически российских женских практик может послужить роман Вл. Сорокина “Тридцатая любовь Марины”. Глубина постановки проблем времени и телесно-дидактического кодирования здесь просто поразительна и, пожалуй, не имеет аналогов в русско-татарской литературе.

МЕЖДУ МАНДОЙ И ЕЛДОЙ: ТОПОЛОГИЯ РУССКОГО (КО-)ЛОБКА

*Ни в п..., ни в Красную Армию.
Советская поговорка.*

Главная героиня романа Марина Алексеева в свои тридцать лет проживает множественные гетерогенные временения, переходя из топоса в топос различных типов социальности, знаками-маркерами которых являются советско-татарский детский сад, инцестуозная семья, московская богема, диссидентствующие круги, иностранцы-русофилы, лесбиянки и, наконец, рабоче-партийная заводская ячейка. Социокультурное пространство демонстрирует в романе такие совмещения и превращения, что линейное временение то и дело взрывается парадоксами и соотносительными аномалиями. С точки зрения большинства романских микрореферентантов социальных типов, вся “линия” судьбы Марины может рассматриваться как регрессия к коммуно-патетической идеологеме настоящего человека. Что только стоит патетика инсайта Марины после первой трудовой смены на токарном станке: «Она посмотрела на свои руки. “Значит и эти руки что-то могут? Не только тереть клитор, опрокидывать рюмки и воровать масло?” Слезы задрожали у нее в глазах...»⁴⁴ Для “правильного” рационально-прогрессистского линейного исчисления Марина как бы деградирует, сужает свой экзистенциальный горизонт, духовные уровни личности и даже перцептивное богатство режимов чувственности.

⁴⁴ В. Сорокин. Тридцатая любовь Марины. М., Издание Р. Элинина, 1995, с. 208.

Да, это было бы так, если бы все то, что она переживает, обладало рациональной *соизмеримостью*. Хотя суть-то дела как раз в том, что истошно-надрывные трансгрессии переживания всякий раз переводят ее в состояния, несоизмеримые с предшествующим. Правда, возможна и противоположная — соцреалистическая — идеология “прогресса”. Но если и есть в романе “Тридцатая любовь Марины” некая ощутимая параллель с горьковским романом “Мать”, то она все же полностью сминается совершенно несовпадающими способами становления революционных патетических тел. Финальное бесконечное ликование Марины прорастает принципиально из иного онтологического основания. Героинка Ниловны берет начало из регрессивно-вагинальных мотивов возвращения плода-сына в маточную охранительную ойкумену, и именно это ретроактивное движение родового времени зажигает ее увядшее материнство новым — возобновленным — огнем: Ниловна как бы рождает Павла “обратно”, ее сын находится во времени из будущего, но такого будущего, приход которого зажигает Ниловну революционным пафосом *изнутри*. Темпоральная семантика Ниловны протекает синтагматически: не от “болотной копейки” к речи Павла на суде, а наоборот, свет в конце туннеля движется к его началу, к истокам, с тем чтобы, замкнув — завершив — временную синтагму, изменить ее знак на противоположный.

Происходящее с Мариной имеет иной характер, но не менее шиворот-навыворот и сикось-накось. Телесно-дидактическое кодирование, вплетенное в ткань ее разновременного становления, симптоматически определяет все возможные переходы между исчислениями. “Негативный” исток Марины — инцест с отцом — не изменяет своего знака и в финале ее “истории”. Напротив, он симулирует собой субстанциональное условие этой истории; как бы ввергая Марину в пучину “неправедной” жизни, он между тем остается неизменной точкой отсчета для исчисления “позитивных перемен” в жизни героини. Эту симулятивную жанровую симптоматику выразительно репрезентирует сон десятилетней Марины в постинцестуозную ночь.

“Ей снилось бесконечное море, по которому можно было спокойно ходить, не проваливаясь. Она шла, шла по синему, теплomu и упругому, ветер развеивал волосы, было очень хорошо и легко, только слегка болел низ живота. Марина посмотрела туда, разведя ноги. В ее пирожке угнездился краб. Она протянула к нему руку, но он угрожающе раскрыл клешни, еще глубже забрался в розовую щель.

«Нужна палочка», — подумала Марина. — «Без палочки его не выковырнуть...»

Но вокруг было только море и больше ничего, море на все четыре стороны.

Она побежала, едва касаясь ногами упругой поверхности, потом подпрыгнула и полетела, в надежде, что встречный ветер выдует краба из щели. Ветер со свистом тек через ее тело, раздирая глаза, мешая дышать. Марина развела ноги и свистящая струя ворвалась в пирожок. Краб пятился, прячась, но клешни отлетели. Видя, что он безоружен, Марина попыталась выдернуть его из себя.

Это оказалось не так просто — скользкий панцирь вжимался в складку гениталий, ножки не давались. Она нажала посильней и панцирь хрустнул, краб обмяк. Марина с облегчением вытащила его и бросила вниз. Раздавленный краб бессильно закувыркался, удаляясь, но за ним сверкнула на солнце тончайшая леска, потянувшаяся из гениталий. Марина схватила ее руками, дернула, но та не кончалась, все длилась и длилась, вытягиваясь из Марины и неприятно щекоча. Ветер ослаб, Марина почувствовала, что падает. Леска путалась между ног, море приближалось, снова засвистел в ушах ветер.

Марина зажмурилась, врезалась в море и проснулась⁴⁵.

Общим содержанием сна является образное переложение происшедшей ранее дефлорации. Но ряд нарративных структур позволяет спроецировать его символику на перипетии судьбы Марины в целом. Семантика мягкого, теплого и упругого моря, по которому можно ходить, несомненно принадлежит телесности. Море Марины — это бесконечная поверхность тела, с которым связывается последующий полет-coitus. Тело — основное «гео-(био)графическое» пространство жизни Марины, именно с «приключениями тела» будет связана ее дальнейшая судьба. Лишившись девственного гимена-краба, Марина попадает «на удочку» этого клинического *Ereignis*. Тончайшая леска отныне связывает инцест-дефлорацию и ее гениталии, т. е. специфику ее будущей сексуальной (и шире — социальной) жизни. Леска означает и линию судьбы, и связь травматического истока с общей «перверсией» последующих половых исчислений и режимов чувственности, в которых будет пребывать Марина.

⁴⁵ Там же, сс. 46-47.

Сон Марины не является простой калькой реальных романских событий, и то, что в образно-метафорическом акте дефлорации активно действует одна Марина (с частичной помощью ветра), имеет особое значение. В данном случае фигура отца как бы декриминализуется; по логике сновидения, в событии инцеста Марина признает свою “авторскую”, провокативную роль. И хотя Марина осознает, что для избавления от “краба” нужна “палочка”, она все-таки обходится собственными усилиями. Не поэтому ли надлежащий травматизм случившегося события приобретает почти чисто номинальный, формальный характер?

И это естественно, поскольку чудовищность инцеста репрезентативна только в тех исчислениях морально-юридического императива, где он имеет фундаментальное значение для конституирования культуры. Номадический мир не обустроивался в парадигме таких фундаментальных табу, и поэтому то, что случилось с Мариной, как бы уравнивается взаимоасимметричными конституэнтами гетерогенного социума.

Что касается существенного различия между героическими путями Ниловны и Марины, то здесь надо отметить, во-первых, что перцептивно-соматический опыт фундирует становление Марины не на инволюционно-перинатальную, а оргазмическую онтологию. В этом отношении телесно-дидактические коды вводят патетическое прямо в психофизиологическую ткань ее оргазма. Так происходит, что в нем совмещается-совпадает два разных по уровням и направленности временения, при том, что третье, прежде господствовавшее, — остановлено (дискурсивно “нейтрализовано” парторгом-любовником Сергеем Николаевичем). Обратимся к этому узловому моменту⁴⁶ преобразования Марины:

“Оргазм, да еще какой, — невиданный по силе и продолжительности. Вспыхнув в клиторе мучительным угольком, он разгорается, воспламеняет обожженное прибоем тело, как

⁴⁶ Я опускаю первый — косвенный — случай индоктринации-кодирования, произошедший с Мариной во сне (некто ОН — “с широким лбом и шкиперской бородкой”, открывающий ей глаза на то, что, несмотря на десятки любовных бисексуальных связей, она так никогда никого и не любила, и проповедующий настоящую “ЛЮБОВЬ” вкупе с “ВЕЛИЧИЕМ РУСИ НАШЕЙ СЛАВНОЙ С НАРОДОМ ВЕЛИКИМ”). Кроме того, момент преобразования важен еще и тем, что впервые Марина испытывает оргазм с мужчиной, до этого ни один мужчина не смог доставить ей удовлетворения.

вдруг — ясный тонический выдох мощнейшего оркестра и прямо за затылком — хор. Величественный, огромный, кристально чистый в своем обертоновом спектре, — он прямо за спиной Марины, — там, там стоят миллионы просветленных людей, они поют, поют, поют, дружно дыша ей в затылок, они знают и чувствуют как хорошо ей, они рады, они поют для нее:

*СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ
СПЛОТИЛА НАВЕКИ ВЕЛИКАЯ РУСЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЗДАННЫЙ ВОЛЕЙ НАРОДОВ
ЕДИНЫЙ МОГУЧИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!*

Марина плачет, сердце ее разрывается от нового необъяснимого чувства, а слова, слова... опьяняющие, светлые, торжественные и радостные, — они понятны как никогда и входят в самое сердце:

*СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СВОБОДНОЕ!
ДРУЖБЫ НАРОДОВ НАДЕЖНЫЙ ОГЛОТ —
ПАРТИЯ ЛЕНИНА, СИЛА НАРОДНАЯ
НАС К ТОРЖЕСТВУ КОММУНИЗМА ВЕДЕТ!*

<...>

Оргазм еще тлеет, слезы текут из глаз..."⁴⁷

Совпадение оргазма с шестичасовым утренним гимном — вот источник патетического рекодирования и изменения исчисления полового времени Марины, источник ее становления ре-волюционным телом. Скрещивание двух гетерогенных временений, их сопряжение в складку не только приводит к временному парадоксу Марины, но и останавливает третье исчисление — европейской генерации, и для Марины оно отныне не существует как нечто значимое, как точка аксиологического отсчета. Трансгрессия симптоматически и физиологически связывается с патетикой, и теперь появление чего-то одного из этой пары тут же будет приводить за собой второе. Можно сказать, что пафос коммунистического труда Марины представляет собой перманентный оргазм, в котором она счастливо пребывает и который вызывает в ней бесконечное ликование.

⁴⁷ Там же, сс.182-183.

Во-вторых, в процессе перехода к новому временению Марина переформулирует свой жизненный путь в терминах движения к смыслу, т. е. кочевого исчисления пространства времени. Вся предшествующая жизнь воспринимается ею как неистинная недожизнь, даже как нежизнь вообще, и связывается с оседло-растительной символикой: “Я раньше не жила, а просто существовала. Как растение какое-то”⁴⁸. Теперь же она — “новорожденная станочница” и ее время исчисляется обработанными “корпусами” — деталями для компрессоров. Увеличивая их количество⁴⁹, она релятивно изменяет собственное временение (тем самым свою и социальную, и сексуальную топологию). Можно сказать, что она конституирует время “своими руками”.

Экстазис исчислений, экстазис абстрактных количеств имеет здесь сугубо эротическое значение качества — реактивации оргазма как качественной меры экстазиса количеств.

В знаменитом романе Егора Радова “Змеесос”⁵⁰ такого же рода качественная мера экстазиса абстрактных количеств получает удачный термин-символ “мандустра”. Если говорить в парадигме этого символизма, то *патетический оргазм* Марины — это ее *мандустра*.

Сопоставляя роман Егора Радова с сорокинским, можно обнаружить, что там развернута та же проблема гетерогенных исчислений времени, но уже в сфере множественных ментальных топологий (у Вл. Сорокина — социально-психологических). В “Змеесосе” невозможно выделить единое линейное исчисление: переход-снование из одной ментальной топологии в другую невозможно представить в виде траектории или какого-либо геометрического графика: эти топологии не принадлежат картезианскому пространству. Но в то же время его трансцендентальный герой-странник Миша Оно, несмотря на ряд его нередуцируемых друг к другу инкарнаций, все же оказывается воплощением некоего единого принципа — аллегорезиса поиска смысла. Миша Оно, пребывая в любом из топосов, знаменует собой их линию сопряжения. Причем эта линия не является неким топологическим центром сингулярных ментальных полей, но пред-

⁴⁸ Там же, с. 218; см. на ту же тему с. 227.

⁴⁹ Характерен параллелизм исчислений в предшествующих социальных топосах Марины и финальном: прежде исчислению подверглось количество оргазмов и количество любовников-любовниц, в последнем случае — количество обработанных деталей.

⁵⁰ Е. Радов. Змеесос. М.-Таллинн, Гилея, 1992.

ствяет сам принцип перехода между ними, который не соотносим ни с логикой повествования, ни с психотипом его репрезентанта. Он отражает общее *психоделическое* состояние всех ментальных топологий, пришедших в соприкосновение и взаимодействие в рамках псевдомистического нарративного универсума. Не случайно в этом контексте и то, что один из героев романа Яковлев (по другой нарративной версии — Иаковлев) забеременел, отсылая, как татарский баба́, к номадической фигуративности времени⁵¹. Ему снится сон, в котором он формулирует новое измерение: «Не ставь себе предела там, где есть дальнейший путь. Если двигаясь вверх, ты нашел свой низ (ха-ха-ха!), если стремясь направо ты достигаешь левой своей стороны, то иди вбок или скажи “хрясь”»⁵². Это уже известное нам измерение сикосьнакось, которое присуще всем психоделическим гетерогенным социумам, где акт нарушения нормы (в каких бы терминах и исчислениях она не формулировалась), воля к нарушению нормы — основной неиссякаемый источник социальной энергии⁵³.

Миша Оно захвачен дромоманией, его предназначение-задача и цель могут быть раскрыты только посредством движения: «Я ничего не знаю, — сказал Оно, рассматривая свои усталые ноги. — Мы должны идти вперед, иначе мы останемся на одном месте и ничего больше не случится. Географические передвижения должны повлиять на эффект попадания в нужную точку реальности; количество должно перейти в качество — иначе смысла нет»⁵⁴.

Специфичность психоделических ментальных пространств в том, что они создают референциально непрозрачные контексты,

⁵¹ Уже только то, что он носит своего ребенка более одиннадцати месяцев, выводит его из нормативно-физиологического европейского исчисления, хотя общая архитектоника рождения Миши Оно из уха Яковлева, без сомнения, опирается на античную мифокосмогонию.

⁵² Там же, с. 48.

⁵³ И так же, как в истории с Мариной, в мирах Радова изменение, “перелом” в судьбе связывается опять-таки с нарушением запрета на инцест. Отец убеждает дочь: “Ты б лучше решила на инцест, занявшись со мной любовью, тогда бы это что-то да значило! А так ты и будешь жить, как прочие, и твой конец мне известен... Подумаешь — переспать с папой! Кого это может удивить?.. Но тебе я предлагаю другое. *Просто* трахнуть со мной. Понимаешь? И именно обыденность этого деяния — без убийств, без зверств, без особой страсти (да и дадут мне каких-то семь лет) — будет означать восстание против этого прекрасного миропорядка.” С. 75.

⁵⁴ Там же, с. 54.

т. е. не имеют однозначной референции и, как правило, не поддаются однозначной семантической интерпретации. Множественные ментальные реальности — это реальности, объекты и отношения которых безотносительны к принципу верификации, к фундированию или редукции их к некой *максимальной реальности, к максимально достоверному миру*. Если они и связываются простым интуитивным отношением единства, то последнее не может быть развернуто ни в дискурсивно ясные отношения, ни в причинно-следственную логику. Психоделия⁵⁵ остается единственным “общим принципом” их связанности и взаимоперехода. И только наша общая причастность к этой (социокультурной в своих основаниях) психоделии делает возможной ориентацию и само “прочтение” трансмутаций в мирах “Змеесоса”.

Нелинейное движение через ментальные пространства веры под знаком поиска смысла — вот основная пружина радовского романа. Дело не в том, что этот смысл должен быть непременно найден (принцип конституции той или иной отвергнутой Мишей Оно реальности в том и состоит, что в ней этот *якобы найденный смысл* восторжествовал: то ли это простодушный “муддизм”, то ли “предельно чистый наркотик”, то ли утонченная “мандуэстра”, то ли захватывающее раздвигание “пупочек”). Метафизика интриги инверсивна: в поисках смысла принципиальна его *ненаходимость*; как будто эта ненаходимость и есть единственный и неотменяемый смысл смысла (“центр центра”).

И даже когда все векторы поисков указывают на окончательное *местонахождение* смысла, на его неперемное *присутствие* — еще один только шаг и... ищущий “обнаруживает” полное его *отсутствие*. Смысл мира, реальности, жизни, бытия — всегда на линии ускользания, он является провокативным мотором движения, акселератором приближения, но и сам он — постоянно в откатно-отказном движении, радикальном ускользании. Он — Вечный Колобок, преодолевающий любые остановки-локализации. В этом отношении роман вполне соотносим с метафизической архитектурой известной народной сказки, но, в отличие от последней, он все же повествует о дискурсивной невозможности стратегии Лисы (впрочем, по сказке, и Лиса, дабы заполучить ускользающего Колобка, пускает в ход *телесную аргументацию*, апеллируя к перцептивным недостаткам своего тела).

⁵⁵ Интересно, что психоделический эффект радовского письма достигается посредством жесткого остранинно-натурального стиля, во многом схожего со стилем Андрея Платонова.

Итак, общая клиническая формула человека состоит в том, что он *полагает смысл* как нечто наличное, т. е. как вещь, как ключ к тайне. Даже только определяя его, человек тут же и утверждает это наличие, говоря: “Смысл *есть* то-то и то-то...” Егор Радов в сложной и предельно напряженной нарративной форме описывает-очерчивает пустоту места смысла, пустоту “могилы Бога”. И именно по этой существенной причине все превращения, все переходы, любые события и состояния оказываются возможными. Говоря лингвистически, любая известная нам реальность *контекстуальна*, а не субстанциональна. Вот почему жизнь-и-смерть, начало-и-конец, которыми так чрезвычайно насыщен роман, оказываются не абсолютными, предельными, а производными — и даже мнимыми — величинами.

Отсутствующее присутствие смысла имеет в основе ту же самую “структурную антропологию”, что и аборт, стигматизирующая функция которого основана на мнемотехнике присутствия/отсутствия. В этой же телесно-функциональной логике бинаризируются (в рамках патриархальной политики пола) мужские и женские генитальные топологии: присутствие сигнифицировано фаллосом, отсутствие — вагиной.

Надо ли уточнять, что русский колобок мечется в пределах этих сексуальных топосов? Что его контекстом так или иначе оказываются генитальные маркеры пола, т. е. вожделенные органы, которыми он не обеспечен? А горизонтом его противоречия остается их странная идеальная совмещаемость и вместе с тем — фатальная несовместимость.

Русский (ко-)лобковый мир заморожен трансмутациями промежуточной фигуративности, вернее, теми силами гетерогенных половых исчислений времени, которые создают их уникальные конфигурации. Мелодрама (или, напротив, историческая удача) русского колобка в том, что он не может осуществить собственной однозначной идентификации, он ни *тот*, ни *та* и ни *то*, т. е. — ни их *среднее* (оно). Он — просто тело без органов. Он не враг органов, но организмы — его враги⁵⁶, всегда и всюду располагаясь на его пути, они пытаются остановить его движение, приватизировать его тело без органов, замкнуть его в рамках единственной идентичности, приписать ему соответствующее значение. Но он все же остается русским психоделическим телом, несмотря на постоянные репрессии, индоктринации, иден-

⁵⁶ Антонен Арто, по-видимому, не знал русской народной сказки и в целом русской культуры, но его концепт *тела без органов* явился как бы калькой с давно известного нам социального типа.

тификации и обращения “в свою веру”. Именно о нем — и о той стратегии, которую он репрезентирует, — народ сложил одобрительно-осуждающую поговорку, процитированную в эпитафии для этой части.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВПРИСЯДКУ

*Приседать приседай, но зачем в
Ильича из нагана стрелять?*

Венедикт Ерофеев “Москва-Петушки”.

Именно народные речевые практики, где, в силу их “телесно-дидактического” характера, нормативный контроль значительно ослаблен, несут в себе все признаки гетерогенных складок. Общеизвестно, что в народной среде нормативный язык сплошь и рядом сосуществует с инвективной лексикой⁵⁷, которая его перемежает, ограничивает и разграничивает. Инвективная лексика не просто некультурное, грубое употребление матерных слов, она выполняет специфическую и существенную функцию в речевых актах. Без этой функции в огромных количествах случаев и сам план выражения, и план восприятия-понимания просто не могли бы состояться. И дело здесь не в семантике инвектив и не в их сексуальной символике. Обычно в повседневной речи смысл инвективных выражений практически не имеет никакой эротической окраски. Ни означаемое, ни референт, как правило, не осознаются говорящими, однако означающее всегда присутствует в широком языковом пользовании.

Инвективы — это бранные слова, т. е. слова, употреблявшиеся на *поле брани*⁵⁸. Известно, что значительная часть бранных — *вое-*

⁵⁷ См. о специфике функционирования инвективной лексики в статье Б. А. Успенского “Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии” в двухтомнике его избранных трудов — том 2, М., Гнозис, 1994. Моя точка зрения во многом совпадает с исследованиями Б. А. Успенского, но есть и моменты принципиального разногласия — о них я скажу отдельно.

⁵⁸ Именно эта родословная матерной речи не прослеживается Успенским. Возводя инвективы к славянским языческим обрядам и ритуалам, к символике Неба, Земли и пса, Успенский пропускает полисемантику слова “брань”, а также тюркскую составляющую русского мата. В своем исследовании он анализирует происхождение трех основных инвектив от *futuere* (“ебать”), “пизда”, “блядь” и их произ-

вательных, бойцовских — слов (“хуй”, “манда” и их производные) была привнесена в русский язык монголо-татарами, которые употребляли их в разгар битв и столкновений. Это употребление было обусловлено предельным эмоциональным режимом, высокой степенью интенсивности телесного и психологического характера. Инвективная лексика выражает экстатический, трансгрессивный телесный опыт номадического образца. Таким же образом эта её особенность проявляет себя и в составе современных речевых практик, позволяя обозначить высшие экстатические моменты сигнификации, не обращаясь к риторическим фигурам речи. Через мат в речь прорываются телесные режимы чувственности речевого органа. Мы знаем, что нормативное употребление предполагает непрерывный логико-семантический контроль за планом выражения, особую автоматическую практику отслеживания связанности речи. Но там, где помимо сознания говорит еще и тело, возникает связанность совершенно иного типа, чем, скажем, в речи европейского образца. В русском народном языке наиболее традиционным оказывается способ сопряжения смысловых блоков через мат, т. е. инвективная лексика выполняет роль логических связок, роль отграничений и совмещений семантических единиц, роль специфически выражаемых знаков ритма и препинания. При этом периодом смысловых блоков выступают такие характеристики и состояния индивида, над которыми субъект сознания не властен и которые передают свои сигнификативные полномочия режимам чувственности. Такого рода речь как бы лишается трансцендентального Я в качестве грамматического гаранта и вводит мысль в конкретные топологические, телесные измерения.

Не менее существенным для повседневной речи оказывается и то, что инвективный тезаурус обладает характером *универсального означающего*. Практически матерный словарь является достаточным для обыденных коммуникаций. Сведение языкового многообразия к весьма ограниченному количеству означающих между тем на другой стороне не утрачивает предметного многообразия, к которому применяется сама процедура означивания. Впрочем, как отмечал М. Бахтин, внешний план для русской ре-

водных. Словно незамеченными остаются инвективы “хуй”, “манда”, “мудя” и их производные, которые составляют не менее мощное гнездо матерных слов и оборотов, нежели первые. И этот “пробел” не случаен, поскольку он не только не вписывается в стройную “мифогенную” концепцию, но и фактически разрушает ее, ибо в пределе ставит вопрос о несубстанциональном характере русской культуры, а значит, о невозможности ее генеалогии из одного истока.

чевой культуры вполне второстепенен по отношению к горизонтальной связи слов. В специфическом матерном “переназывании” нормативные имена не стираются бесследно, а инвективные имена не приставляются к первым на манер переводного двуязычного словаря, они как бы записываются одно на другом. Это двойное именование несводимо и к синонимическому словарю, поскольку здесь эффект синонимии возникает только в строго определенном контексте, вне которого инвективное имя обладает максимумом означивающей свободы.

Несомненно, что в повседневных речевых практиках мы сталкиваемся с феноменом гетерогенного свойства, складчатая природа которого репрезентирует сложносоставность общественного организма, к которому и принадлежит русский язык. Эффект мультисиамизированной, створчато-складчатой природы нашей культуры дает знать о себе в самых различных сферах социальной жизни, в детерминации условий и последствий самого широкого спектра.

Особый интерес имеют для нас феномены общественной жизни, совмещающие статические (оседлые) и динамические (кочевые) элементы в своей структуре. Самым простым и повседневным феноменом этого типа можно считать движение пассажирских транспортных средств. В маршрутах представлены последовательность движения и его задержки, остановки в контексте жизненных практик, совершенно очевидно противостоящих нормализаторской (гомогенизирующей) доминанте.

Когда-то мне в руки попала очень рядовая книжица, связанная с архитектурой сельских автобусных остановок. В этой книге⁵⁹ были показаны архитектурные искания в исторической развертке. И вот что удивительно, история этих исканий имела одну очевидную логику характера последовательных архитектурных изменений: от остановок по типу четырехстенного строения с широким проемом к трехстенному П-образному, затем к одностенному с крышей, Г-образному и, наконец, к отказу от стен — к крыше на металлических штангах или на ажурном металлическом каркасе.

Чуть позже мы вернемся к смыслу этой архитектурной логики, а сейчас обратимся к функциональному назначению остановок в номадическом движении. Известно, что ритм номадического движения подчинялся характеру физиологических потребностей животных. Потребность коня в пище, отдыхе, сне диктовала необходимость остановок у кочевников (которые соизмеряли

⁵⁹ К сожалению, я не смог вспомнить ни её названия, ни авторов.

эти остановки отнюдь не с человеческими потребностями, хотя они удовлетворялись вслед за первыми). Остановки зачастую маркировались каменными бабá, стелами, “оленными камнями”. Пространство вокруг этих “каменных баб” обильно удобрялось естественными отходами животных и людей, и на следующий год в этих пунктах остановки всходили густые сочные травы. Таким образом, остановки не могли быть абсолютным перерывом движения, наоборот, они аккумулировали в себе его энергетический потенциал, являясь предельной интенсивностью кочевой линии движения. В связи с этим каменные бабá не носили означавшей функции покоя, но, не будучи ни пиктограммой, ни символом⁶⁰, являлись чистым движением, сверхскоростью и абсолютным эталоном пожирания пространства.

Номадическое использование остановок как момента естественных отправлений полностью сохраняется и в наше время (в противном случае, с номадической точки зрения, движение просто не состоится: анальный мотор в качестве перводвигателя должен осуществить все предпосылки развития скорости). И опять здесь дело не в культурности или бескультурье нашего народа — в данном случае это понятия европейского взгляда на вещи. В непосредственно кочевом использовании автобусных остановок и в европейской архитектурной логике их изменения вновь обнаруживает себя складка различных типов социальности.

Действительно, чему же подчинена логика архитектурных изменений? Конечно, задаче архитектурного дистанцирования от использования остановок не по назначению, т. е. как сортиров, а не мест ожидания транспортных средств. Тем самым предпринимается попытка перемотивировать использование остановок на европейский манер. Для этого остановки становятся все более просматриваемыми, архитектура здесь создает пространство надзора, чтобы предотвратить их номадическое использование. На чем основана эта логика? На европейском исчислении времени и представлении о культуре. Открытое пространство остановки апеллирует к публичности, к открытости для взгляда Другого, т. е. эта архитектурная логика предполагает наличие оппозиции публичного и интимного, где третьим членом является моральное исчисление-нормирование.

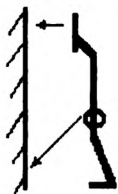
Каков же характер русской складки? Его можно понять по тому, какими здесь конституируются топосы мужского и женского. У номадических народов способ отправления уринальных по-

⁶⁰ См. об этом подробнее: Deleuze G., Guattari F. *Capitalisme et schizophrénie. L'Anti-Oedipe*. Vol. 1, P., 1972, Chap. 4.

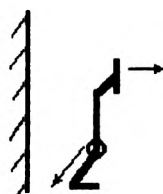
требностей был одинаков как у мужчин, так и женщин, в этом отношении оппозиции мужского и женского также не существовало. В новоевропейском обществе, напротив, способы отправлений принципиально различны. Женщина, используя выражение Венедикта Ерофеева, принуждена “жалостливо приседать”. Необходимо иметь в виду, что не физиологические различия заставляют ее это делать, а социальные инвестиции в сферу физиологии, дискурс нравственности, переживаемый как интимное чувство стыда. То есть сама проблема возникает тогда, когда акты отправлений в публичном окружении табуируются и сокрытие становится моральным императивом.

Обратим внимание на то, как отправляются уринальные надобности на русских остановках. Топос мужского, как правило, всегда создает пространство сокрытого через позицию отправления потребности к стене: лицо и гениталии повернуты к стене, спина, как глухой телесный фасад, — к миру. Топос женского иной: лицо обращено к миру, а гениталии — к стене остановки.

ТОПОС МУЖСКОГО



ТОПОС ЖЕНСКОГО



Нравственная оптика в организации бинарных половых топосов специфическим образом соединяет и разъединяет, заштриховывает, картографирует телесные зоны и указывает на основные пути взгляда Другого с целью обнаружения и деприватизации, т. е. уничтожения дистанции, а следовательно, и обобществления, приватно-интимной сферы. Противостоять агрессии Другого можно только создавая пространство сокрытого, невидимого, совмещенного с центрами паноптического контроля. Для мужского агрессия обобществляющего взгляда направлена спереди, для женского — сзади.

Специфика интимного пространства мужчины позволяет ему организовать глухую оборону спина-стена, для женщины фигура защиты имеет формулу стена-лицо. Это означает, что топос мужского создается за счет конъюнктивного синтеза верха и низа в пространстве сокрытого; топос женского конституирует себя за счет дизъюнктивного синтеза верха и низа. Такое соотношение вполне закономерно для европейского типа топологических

исчислений, где лицо (открытое пространство) есть публичное поле, а гениталии (сокрытое пространство) — интимное. В номадическом обществе такое соотношение отсутствует.

Результатом нормативной констелляции оказывается то, что у европейского мужчины дискурс нравственности записывается преимущественно на лице, у европейской женщины эта запись локализована на гениталиях⁶¹. Таковы социальные инвестиции европейского образца в сфере физиологии; они же просматриваются и в России, но между тем, несмотря на работу нравственного императива, остановки продолжают использоваться в номадическом значении. Гетерогенное в составе образовавшейся складки оказалось нередуцируемым и неконвертируемым.

Вместе с тем русская баба получила еще один косвенный идентификационный признак, позволяющий вписать ее стигматизированную специфику в гетерогенный хронотоп русского психоделического мира.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФЕМИНИЗМ: ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ

*Культура и свобода*⁶² — Ника, богиня победы, — женщина — тело без головы, с оторванным крылом... Странный силлогизм журнального переплета. И там, где должно быть лицо с выражением победного торжества, — солнце — ядерный шар — звезда, бушующая в собственных антипротонах. Так победа или поражение? Торжество или взрыв в теме гелиотропа? Солнце удерживает собой тело или тело служит пьедесталом для солнца?

Не введена ли невольно в это фантазматическое и пророческое поле феминистская формула свободы — женщина, победившая... но в то же время получившая серьезный травматический ущерб? Женщина, взорвавшая собственную голову, превратившая свое лицо в солярную ткань, но не утратившая ландшафта женского

⁶¹ Интересен ряд инверсий этих соотношений в мусульманском мире.

⁶² Главная редактрисса журнала “Культура и Свобода” Галина Георгиевна Сорокина пригласила меня войти в состав редколлегии, и когда я познакомился с концепцией журнала, а главное — с его обложкой (на синем фоне — скульптурное изображение богини Ники, и поскольку богиня где-то в исторических баталиях потеряла голову, то на месте этой головы художник водрузил нечто вроде сияющего солнца), я немедленно дал свое согласие, так меня захватил символический узел оформления.

тела. Клиническое божество, соединившее *исток* и *результат* культуры в своем разъеденном раком времени теле.

Вся эта гордая надломленность, смертельные разрывы, ядерные вспышки, глубинные потрясения и распад — не являются ли они основными физическими элементами нашей угрюмой эпохи, возвысившимися до ее символов?

Культура *и* свобода, пожалуй, так же разорванны и несовместны в контексте этих символов. Если это *свобода* (а как истинная свобода она означает и свободу пола), то каким образом она может совмещаться с *культурой*, основанной на патриархальной политике пола, на исключительном приоритете мужского перед женским? Парадокс феминистской темы в том и заключается, что поля культуры и свободы оказываются в ней взаимоисключающими, дизъюнктивно соотнесенными — культура *или* свобода, что, по существу, оказывается бессмысленным, если не иметь в виду (“в уме”) еще какую-то альтернативную культуру. Свобода приходит, когда культура покидает нас. Культура в качестве норматива и регулятива, в качестве суммы обязательств к ценностям, принятым и созданным не нами. Она истончается, как предсмертное дыхание, тогда как на другом полюсе увеличивается количество свободы. Такая скорбная свобода — результат энтропии культуры, если сама культура не свободна.

В эпоху, когда господствует дезинтеграция, нам следует не поддаваться иллюзии, будто мы становимся все более и более свободными. Если мы сегодня можем свободно говорить, то только потому, что орган репрессивного контроля агонизирует и не может себя собрать в эффективно действующее мышечное насилие вследствие собственных причин, собственных отчаянных уступок глубоко внутренней и неизлечимой болезни, подобной по своей этиологии всем “болезням накопления”, случающимся при патологическом накоплении в крови организма или клетках органов продуктов метаболизма. Но в этом нет никакой нашей заслуги, в этом нет интенсивности наших собственных усилий по утверждению свободы нашего слова, истинная свобода которого видна именно тогда, когда репрессия полна сил и угрозы. Свобода что-то значит лишь благодаря своему отрицательному двойнику, но в том-то и дело, что при ее наличии последний остановлен на границе паритета, на границе, которая, между прочим, не принадлежит ни одной из этих социальных оппозиций, являясь неотъемлемой собственностью третьей силы — права.

Женщина-птица в современной постановке, солярная сирена свободы распада — и возвещает, и репрезентирует нашу эпоху

Нашей жизни не хватает созидательности, продуктивного роста; наши головы сжигает огонь, порожденный крылатым некрозом тела. Этот лихорадочный кризис может завершиться только одним исходом из двух возможных — смертью или выздоровлением. Банальный диагноз при таком неординарном и серьезном заболевании, которым захвачен социальный организм. Но давайте еще раз посмотрим на обложку журнала — может ли эта женщина выздороветь?

Мы говорим о культуре и свободе, т. е. о женщине в качестве символической их репрезентации. Несомненно, это знаменательное явление — символизировать *женским* то, к чему оно имеет (по своему собственному феминистскому разумению) крайне сомнительное и в значительной степени косвенное отношение. Показательно здесь то, что такого рода употребление *женского* раскрывает специфический характер его восприятия (и конституирования) *мужским*. В этом цельномонистическом восприятии женское без остатка расположено в поле мужского бессознательного и уже тем самым отнесено к “символическому разряду”, если использовать терминологию Ж. Лакана. Может быть, именно в этом заключен смысл лакановского высказывания “женщина не существует”: женщина не существует в качестве *реального*, в качестве *инстанции*, но только — в качестве символического, в качестве артефакта мужских фантазий, мужского бессознательного, продуцирующего женский гештальт, женский сексуальный ландшафт на основе картографии собственных желаний. И даже *крылья* не могут увести женщину в сферу животного (птичьего), неантропоморфного (читай: немужского) мира, ибо они символизируют ту же самую эрегирующую мужскую силу, которая, преодолевая силы гравитации, вздымает фаллос, делает его в буквальном смысле *летучим*, — древние рисунки демонстрируют множество таких крылатых фаллосов.

Здесь дух времени обнаруживает свое постоянство и приверженность изначальному символизму, как будто языческая тема никогда не оказывается завершенной — ни в культурных топосах, ни в детерминантах психического поведения, ни в способах реализации свободы. Она всегда остается записанной прямо на теле, опыт которого — это опыт brutального испытания естества на адекватность своим собственным фантазмам. В данном случае женское тело оказывается прекрасным образцом “сопротивления материалов”, его атлас схвачен линиями интенсивности и подразделен на “зоны”, сигнифицирован и детерриториализован одновременно. Коды мужского желания в качестве резцов и рейсфедеров, штангенциркулей и лекал отработали его поверх-

ность и складки, впадины и возвышенности. Именно эта сексуальная геодезия, в результате тщательной “разведки местности”, формирует *идеальное женское тело*, чтобы затем, с различной степенью успеха, пытаться обнаружить его на конкурсах красоты, ориентироваться на него при выборе партнера, супруги, и не находя, естественно, такого идеального образца в повседневности, мужчина получает возможность терроризировать женщину комплексом ее неполноценности, недоделанности, несоответствия и т. п. *Идеальное женское тело* парадоксальным образом позволяет рассматривать “реальную” среднестатистическую женщину как грандиозную аномалию, симулякр, ортопедический продукт, искусственное происхождение которого несомненно, а мастерство ремесленника-протезиста, его создавшего, достойно удивления.

Стало быть, речь идет о том, что *создано* человеком (европейским мужчиной средних лет) в качестве *второй природы*, т. е. — как ни ходи вокруг да около — в качестве культуры (или женщины). И именно в этом искусственном пространстве произрастает тема свободы — свободы артефакта от своего создателя, и наоборот — создателя от своих собственных изделий, как если бы в любом моменте процесса креации уже содержались локальные механизмы обоюдного террора, сикось-накось сталкивающие две претензии. Претензию артефакта на абсолютную свободу от создателя и претензию создателя на роль абсолютно владельца-контролера, т. е., по существу, на роль Бога. Но каким образом нам помыслить *свободу от культуры* (претензия №1), если *культура без свободы* (претензия №2) нам имплантирована вплоть до “клеточного” уровня?

Конечно же, дело не в том, что нам недостает мыслительных стратегий, адекватных поставленной проблеме. Сама проблема не имеет разрешения в том контексте, в котором она возникает (если только женщина не желает в перспективе стать мужчиной), поскольку свобода от культуры возможна только в контексте *а-культурного* становления, т. е. тем самым проблема может найти свое разрешение в пространстве *становления животным*. Что означает, на первый взгляд, почти невероятную формулу: *чтобы женщина могла стать свободной в мужской культуре, она должна претерпеть становление животным*, т. е. должна перестать быть женщиной, в качестве которой она определена всем полем данной культуры. Так замыкается силлогизм, отправным пунктом которого служил тезис об отсутствии женщины в качестве социального начала.

Похоже, что там, где царит логика дизъюнктивного разделения и ожесточенного противостояния, мы будем петлять в кольцах замкнутых силлогизмов и наследственных неразрешимостей зеноновского или кантианского латинизма. В результате чего *на деле* сведение этих полярных неразрешимостей в едином поле осуществляется посредством системы репрессивных практик, так что принцип насилия всегда работает на чьей-либо стороне, оставляя и представляя другую некой жертвенной тканью для стигматизации символическим письмом, начиная с архаических форм органической клинописи до построения модернистских телесных атласов на основе высокотехнологических машин желания.

В таких условиях свобода в *нашей* культуре шиворот-навыворот является не чем иным, как формой протеста и разрушения. Побеждая, она водружает себе победный памятник самораспада: теперь женщину невозможно уже представить как целостность, не достроив до *образа*, т. е. не доведя ее гештальта до самореферентности — и тем самым конституируя в качестве симулякра, подобия, артефакта мужского ремесла.

Женщина в современном российской социокультурном контексте производится в специфическом маятниковом режиме, полюсами которого, с одной стороны, является бытие, удерживающее ее *на границе* становления животным, а с другой — бытие в качестве симулятивного образца конкурса красоты, этого апофеоза сексистской стратегии. Она пребывает *или-или*, и никогда — *между, вне, до*. С одной стороны, более четырех миллионов абортов в год, с другой — десять конкурсных красавиц. Эти два полюса являются по существу основными способами производства современной российской женщины, причем и тот и другой предельно репрессивны, поскольку связаны с непосредственной записью на теле стигматов мужской власти. *Мнемотехника аборта или подгонка под образец, соответственно, тело без органов или органы без тела — вот структура политической ортопедии женщины здесь и теперь.*

Ненормированные машины желания, производящие телесных колобков (в обоих смыслах) в качестве побочного жертвенного продукта удовольствия, лишь в *воображаемом* разряде прививают этим колобкам идеальные органы, ответственные за индукцию и резонанс желания. Конституируя влечение на основе образцов, мужское желание между тем осуществляет себя на теле без органов. Эти шизофренические ножницы, сводящие бинарные топосы производства женщины в мужском фантазме, отсе-

кают (вплоть до органического вмешательства) женщину-ко-
лобка от производства ее именно в качестве *реального*.

Женское артикулируется, как минимум, дважды: через обобщенную плоть и через рафинированные образцы, идеальные секс-фрагменты тела, — причем дизъюнктивный синтез этих двух планов не носит генерализующего или же редуцирующего характера. И если недифференцированная плоть употребляется мужчиной индивидуально, то образец носит лишь обобщественно-коммунальный характер, и его потребление может иметь только фантазматически-протитуированный вид. Коллективные зрелища “состязающейся красоты”, умноженные телевидеотехникой и красочной полиграфией, превращаются по своим производственно-экономическим характеристикам в коллективное потребление, в котором и возникает “*прибавочная стоимость*” идеальных (с сексистской точки зрения) женских форм.

Жертвенная экономия обмена последней на производство аборта скрепляет, таким образом, эти две артикуляции в поле определения сущности женщины в качестве *страдающей и/или вожде-
люющей, ущербно-колобковой и/или совершенной, в качестве
сексуального объекта и/или сподручного орудийного средства*.
Формула женщины приобретает в данном случае несуммируемые серии значений, выборочно применяемые в зависимости от конкретных жизненных ситуаций и потребностей.

Основная проблема сподручной женщины в том, что *она не имеет самостоятельных, автохтонных средств воспроизводства, независимых от системы репрессий по отношению к ней*. Необходимо рассоединить эти два типа социального действия. Женщина как артефакт репрессии и женщина как продукт пространства личностного суверенитета — вот тот зазор в феминогенезе отечественной и западной женщины, который требует переформулировки женских проблем в условиях российского социокультурного контекста. Чтобы решать проблемы феминизма в России, необходимо прежде создать пространство его предвместимости. Здесь у женщины ситуация, как это ни странно, совпадает с мужской: он также стоит перед проблемой создания пространства личностного суверенитета, именно на его основе может быть конституирована безотносительная (в идеологическом смысле) топология полов и определены принципы их равенства.

Трансформация психоделически организованного общества предполагает смену социального зрения, которое перестает воспринимать репрессивные “правила игры” как естественные, адекватные жизненному миру, а саму “арифметику боли”

(выражение М. Фуко) как присущую природе вещей. Репрессивные стратегии были имплантированы так глубоко, что женщине вменялась ущербность на уровне психофизиологических механизмов, на уровне ее биологической конституции. Так, например, патриархальная политика пола приписывает *истеричность* сугубо женскому полу. Между тем как истерические тела — это продукт особо отработанного террора. Быть истеричкой — значит быть чистой “поверхностью”, когда все реакции и переживания невольно приобретают абсолютно внешний (открыто демонстративный) характер. Если женщина что-то прячет в себе, ускользает от практик дознания, противоположная сторона будет делать все, чтобы превратить невидимое в видимое. Истерия — простейший способ организации пространства надзора и контроля, поскольку позволяет разворачивать всю сумму внутренних психических состояний на поверхности, с которой они и “считываются”. Властные стратегии провоцируют истерию, чтобы “все знать” и в то же время “иметь право” подавлять женщину как девианта, “ненормальную”. Такая практика истеризации постоянно себя воспроизводит в социальности, и особенно в ее частичном проявлении — в семье.

Как отделить это пространство репрессий от производства женщины? И возможна ли для данной культуры ситуация, когда она реализует себя вне такой генерационной топологии? Какого рода разрывы и смещения необходимы между вещами и знаками, телами и желаниями, властью и кодами, чтобы смягчить бремя террора до возможности новых перспектив свободы? И это в то время, когда забота о хлебе насущном доминирует, когда общее крушение жизни толкает к ожесточенной борьбе за существование и выживание, когда чувства стабильности, надежности и защищенности терпят такое сокрушительное поражение, что другие проблемы — проблемы женской свободы — кажется, просто тонут в коллективном социальном смятении.

Или все-таки глобальный системный кризис культуры как раз и располагает к постановке именно этих проблем — в надежде на то, что новая социокультурная констелляция сложится уже с учетом обнажившегося проблемного поля репрессивных условий производства и существования женщины? И именно поэтому тема женщины-культуры должна быть артикулирована и введена в самое средоточие механизмов, ответственных за сборку этой грядущей и пока еще не отлившейся в жесткую фигуративность социальности. Такова точка зрения оптимизма.

Но репрезентация всё ещё что-то репрезентирует, символ, несомненно, всё ещё символизирует, оставаясь вне собственной,

неслужебной определенности. Женщина в качестве символа культуры вместе с тем репрезентирует своё собственное отсутствие. Она — призрак, означающее без референта, форма без содержания, она — указание на что-то иное и указка, которую применяет кто-то иной. Но в таком случае *женщина в самоопределенности* является нейтральным, нелокализованным полем, экстерриториальным телом с множественным веером возможностей, с ненормированным, а-иерархическим, текучим либидо, которое вне мужского деспотизма кодифицированных желаний несоотносимо с однозначной половой ролью-функцией или жесткой статусной фигуративностью. Быть может, именно это она и чувствует, интуитивно прозревает в предельно экстатические моменты, в трансгрессиях любых локальностей и однозначных гештальтов.

Деконструкция маскулинистски организованной культуры, а следовательно, легитимация а-культурного (инокультурного) становления в качестве становления животным, конечно, не означает здесь становления domesticiрованным (одомашненным) животным.

В этом контексте *быть животным* означает лишь одно: сводить все многообразие **знакового** террора к атомарному хаосмосу **сигнального**, а-репрезентативного, ситуативно-поведенческого детерминизма. К топологии, не определяемой внешними кодами патриархальной политики пола с ее непреложным разделением труда, идеологическими машинизмами и языками власти. Десемиотизация социального поля одним из его предельно семиотизированных агентов позволяет последнему осуществить стратегию ускользания: не быть местом для письма, не быть поверхностью для снования репрессивных машин мужского желания, не противостоять их паранойяльному натиску в качестве истерического тела, но пребывать разнонаправленно, нелинейно, вне форм ролевого порабощения.

Расшатывая сигнификативные тотемы, нарушая социальные жанры и политическую организацию вещей, становление животным пробуждает могучие силы неантропоморфного, которое таит в себе (предосудительные для геометрии мужского ума) опасности свободы, уже не определяемой в патриархально инфицированных терминах свободы, ибо последняя принадлежит уже совсем иному психоделическому контексту, а значит, иному полю интенсивностей и становлений.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДЫ, или ПЕРСИК НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Бесплодие помеси лошади и осла, т. е. мулов и лошаков, может быть, более всего содействовало возникновению и укоренению убеждения в бесплодии всякого скрещивания между видами... Гертнер, например, утверждает, что хотя ему и удавалось в некоторых случаях сохранить ублютков до шестого, седьмого или даже девятого поколения, но плодовитость их сильно ослабевала, так что он принимает бесплодие ублютков за несомненный закон, не подлежащий исключению. Дарвин не сомневается, что уменьшение плодовитости в ублюдках есть явление обычное; но он в то же время полагает, что при всех этих опытах оно происходило от совершенно особой причины.

К. А. Тимирязев. *Чарлз Дарвин и его учение.*

Вопрос о легитимности того или иного научного знания в наше время кажется, по крайней мере, парадоксальным, если не бессмысленным. Несомненно, в процессе исторического развития он имел место, особенно в момент становления и конкуренции науки с другими стратегиями в качестве отраслей дознания истины. Длительный спор между истиной веры, истиной искусства и истиной познания свёлся в конечном итоге к простому разделению “сфер влияния”. Но, так или иначе, все эти сферы были

освящены одним именем — именем Бога. Божественные заповеди, божественная красота и божественный порядок выступали предельным горизонтом поиска этих истин. Имя Бога, таким образом, легитимировало этот поиск. Конфронтация истины веры с истиной познания привела к тому, что последняя стала искать и определять свою легитимность самореферентно, т. е. внутри собственного корпуса знания, не обращаясь к внешним по отношению к науке жанрам. Научный жанр стал определять не только нормы и правила собственного построения, включающие логическую непротиворечивость и процедуру верификации, но и собственную законность как таковую. С точки зрения М. Фуко, такая легитимация, независимая от имени Бога, стала возможной с момента кристаллизации власти в поле знания. Истина власти стала легитимным основанием истины познания. Знание превращается в силу.

Легитимация науки в Советской России начала XX века, в предельном соответствии с теорией Фуко, полностью контролировалась истиной власти, опиравшейся на философии марксизма. С победой прогрессивного исторического класса целый ряд наук или научных направлений (квалифицируемых в качестве буржуазных) оказался нелегитимным. Конечно, в первую очередь это касалось таких гуманитарно-идеологических сфер, как философия, обществознание, история, история литературы, педагогика, языкознание, этика. Под вопрос была поставлена и сфера искусства. Сложнее и даже интимнее обстояло дело с естествознанием.

В начале XX века великий русский испытатель естества И. В. Мичурин поставил перед собой грандиозную задачу: вырастить персик в открытом грунте Тамбовской губернии. Конечно же, он столкнулся с кардинальными трудностями⁶³. В целом характер этих трудностей был таков, что он записал в одну из своих рабочих тетрадей: “Этого слишком достаточно, чтобы убить всякую надежду на возможность культуры персика в нашей местности. Но, во-первых, чего нет, того и хочется, а во-вторых, чего не достигал упорный настойчивый труд и терпенье человека?”⁶⁴

⁶³ Достаточно сказать, что средняя температура января в мичуринском городке Козлове (ныне Мичуринск) -12°, максимальное падение температуры -38° -40°.

⁶⁴ Мичурин И. В. Культура персика [и абрикоса] в открытом грунте в местности Тамбовской губернии. Соч. в 4-х томах. М., ОГИЗ, т. 3, 1948, с. 251.

Итак, “*чего нет, того и хочется*”. Вдумчивый ученый как нельзя более точно определил предпосылку и характер не только селекционного искусства, но и глобального предприятия власти по установлению *политического значения природы*.

Отсутствие и *желание* выражают онтологическое основание ортопедической стратегии, и в частности её биологического эквивалента — направленного отбора, этой *терпеливой* борьбы человека за *присутствие* и *удовольствие*. Климатическому оскоплению флоры Тамбовской губернии настойчивый натуралист противопоставляет своего рода фаллическую силу дарвинизма⁶⁵, теоретический план которого реализуется на приусадебном участке селекционера в простых биоэтонических машинах, направленное действие которых представляет собой то, что Ж. Делёз и Ф. Гваттари назвали “*машиной желания*”⁶⁶. Биоэтоническая машина желания оказывается лишь частным случаем общей семиотики желания, в границах интенсивности которой осуществляет свою территориализацию русский натуралист. И поскольку производящий характер биоэтонической машины запрограммирован на онтологизацию будущего, т. е. на отсутствующие, но необходимо желанные свойства, признаки, предметы, то, перефразируя М. Хайдеггера⁶⁷, можно констатировать в этой логике, что “*желание времени из будущего*”, тогда как настоящее захвачено отсутствием и нехваткой.

⁶⁵ Вопрос о приспособляемости видов, как это ни прискорбно, фактически не входил и всё ещё не входит в разряд основных вопросов, обсуждаемых в философии. Хотя косвенно, окольными путями (может быть, в первую очередь, благодаря политическим практикам и сфере искусства) он всё-таки создаёт неявное поле самоактуализации. Между тем я полагаю, что не вызовет особого сомнения предположение о том, что не только марксизм-ленинизм-сталинизм впитал в себя идею естественного отбора Ч. Дарвина. В той или иной мере эта идея даёт знать о себе в философии жизни, экзистенциализме, психоанализе и феноменологии.

⁶⁶ Deleuze G., Guattari F. *Capitalisme et schizophrénie*. — P: Ed. de Minuit, 1972. — (Coll. Critique) — V. I: L'anti-Oedipe. Надо отметить, что термин *машина* у Делёза и Гваттари не носит узкотехнического смысла и определяется ими в качестве ряда повторяемых, конечных аналитических операций, некоего универсального производящего схематизма, работающего не только в механических, но и в экономических, психических, социальных и т. п. порядках.

⁶⁷ Более того, не является ли феномен Мичурина тем самым идеалом неспешного крестьянского быта и труда на лоне природы, о котором говорил и мечтал Хайдеггер?

Особый акцент в селекционной практике Мичурин делал на исходном материале для гибридизации. Развивая идею персика в Тамбовской губернии, он формулирует следующее положение:

“В деле осмысленной выводки новых сортов для скрещивания необходим подбор таких свойств, которые в итоге дадут желанный результат... Возьму-ка я [1] дикорастущие *Amygdalus Fenzliana Fritsch* (местное название “Бадамчи”), а ещё лучше, *Amygdalus prunifolia Carr*, который дико растёт в Забайкалье в двух местах: 1) на восточном склоне гор около Гусиноозёрского дощака и 2) около Кяхты; и [2] культурные формы — Осиповский из Киева, или же Железный канцлер (самый выносливый из сортов). Есть надежда, что они дадут [3] искомый сорт, качественно новый по сравнению с подобранными производителями по отдельности”⁶⁸.

Поверхностный взгляд может инкриминировать учёному тривиальную мыслительную схему, возникающую в массе житейских обстоятельств по формуле $\frac{1}{2} \rightarrow 3$. Чуть позже, гениально применив эту же формулу к кинопроизводству, Сергей Эйзенштейн в статье “Монтаж 1938” писал о том, “что два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество. Это отнюдь не сугубо кинематографическое обстоятельство, а явление, встречающееся неизбежно во всех случаях, когда мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений, предметов”⁶⁹.

Но всё дело в том, что тривиальность этой схемы разрушается, как только она входит в структуру машинизмов желания. Действительно, поскольку для последних “желание временится из будущего”, т. е. горизонтом понимания события, протекающего *теперь* (*Jetzt*), оказывается не то, что было *до* (*Vor*), а то, что будет *потом* (*Nach*)⁷⁰, постольку машина желания в своей основе ведёт к различию между сущим и должным. И хотя она наибольшее аналитическое внимание уделяет самой природе сопоставляемых объектов, все же “внутрикадровое и композиционное содержание этого сопоставления” полностью определяется содержанием результирующего (но в *теперь* ещё отсутствующего) целого. Отсутствующее (то, чего ещё нет) предусмотрено, и как

⁶⁸ Мичурин И.В. Выбор растений-производителей. — Соч., т. 3, с. 306

⁶⁹ Эйзенштейн С. М. Монтаж 1938. Избр. пр. в 6 томах. М., Искусство, т. 2, 1964, с.157.

⁷⁰ В связи с этим марксистская формула “анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны” претерпевает ницшеанскую трансформацию “анатомия сверхчеловека — ключ к анатомии человека”.

предусмотренное предопределяет исходные элементы и условия их сопоставления. Машина желания (то ли это приусадебный участок натуралиста, то ли монтажный стол режиссёра, то ли правительственный телефон или трибуна политика) функционирует *наоборот*, не от посылок к следствию, а от следствия к посылкам. Тем самым то, чего ещё нет, уже есть, потому что должно быть. Так в “отсутствии” и “желание” проникает “должное”. Биополитическая машина желания изначально опутана долговыми обязательствами, и должное, по существу, производит переворот в машинной структуре, превращая её в *машину должествования*, машину, устанавливающую закон для соединения желания со своим объектом. Такова общая метафизика внедрения в дискурс естествоиспытания желания политических сил должествования, и мы должны иметь её в виду в дальнейших размышлениях.

Ещё раз обратимся к С. Эйзенштейну: “Изображение А и изображение В *должны быть* так выбраны из всех возможных черт внутри развиваемой темы, *должны быть* так выисканы, чтобы сопоставление их — именно их, а не других элементов — вызвало в восприятии и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой темы”⁷¹.

В процессе селекционной практики Мичурин совершает ряд гениальных открытий в деле управления развитием растительного организма. Так, он твердо устанавливает факторы взаимовлияния *привоя* и *подвоя*, детально доказывая, что глубина этого воздействия доходит до получения *вегетативных гибридов*, т. е., по существу, таких же ублюдков, о плодовитости которых в животном мире спорил учёный мир на рубеже XIX-XX веков. Идея получения нужных свойств путём взаимовлияния привоя и подвоя стремительно осваивается властью и начинает активно применяться в социокультурных технологиях уже с конца 20-х годов нашего столетия. Именно она определила базисную схему культурной революции в СССР и Китае, когда попытка соединить исторические преимущества трудовых классов с прогрессивными достижениями буржуазной культуры по схеме *привой-подвой* увенчалась успехом — возникла *трудовая интеллигенция*. И вместе с тем в это же время в политической практике начинает эффективно работать сельскохозяйственная метафора *сорняка-паразита*; так, кулак не только в повседневной речи, но и в официальных документах определялся как *мироед* и *мелкобуржуаз-*

⁷¹ Там же, сс. 159-160.

ный сорняк⁷², который, соответственно, должен быть уничтожен с корнем.

Вторым существенным вкладом Мичурина была *теория доминирования*. Первый том четырёхтомника Сочинений Мичурина предоставляет прекрасную возможность обнаружения производства расщеплённого типа дискурса науки и власти, к тому же он содержит *два* (что само по себе уже знаменательно) предисловия знаменитых стратегов советской науки с исключительной волей к власти: одно — академика Т. Д. Лысенко, другое — его соратника И. И. Презента. Суть теории (и практики) доминирования — в воспитательном воздействии на условия роста опытных растений. Вот как описывает принцип доминации сам Мичурин: “...из моих долголетних наблюдений выяснилось, что сеянцы плодовых деревьев наследуют от своих ближайших предков через посредство родителей в большей мере те свойства, которые в них в год скрещивания выступали с большей силой... В этом деле всё зависит от опытного подбора комбинаций скрещиваемых пар растений и, главным образом, от целесообразного воспитания гибридных сеянцев в их молодом возрасте. При недостатке же должного воспитания не только растения, но и человек, существо более совершенное, легко теряет заложенные от рождения зачатки культурных свойств и дичает... при воспитании гибридного сеянца... здесь почти всецело качества будущего нового сорта зависят от режима воспитания его”⁷³.

Эти замечания Презент комментирует следующим образом: “Из этого важнейшего положения следует, что для того, чтобы обеспечить уклонение гибридов в нужную сторону, необходимо соответствующим образом подготовить родителей, дав им, *в особенности в год скрещивания*, те условия воспитания, которые уклонили бы родителей в сторону, которая нужна селекционеру... *селекционер должен воспитывать для скрещивания родителей так, чтобы у них наиболее сильно развить те свойства, которые селекционер задумал для потомков этих родителей...*” — это

⁷² Характерно, что агенты городской буржуазно ориентированной среды (нэпманы, служащие, спецы, потомственная интеллигенция, политики) маркировались именем “мелкобуржуазная гнида” или “вошь”, что позволяет сделать вывод о принципе номинации врага — ему давалось имя наиболее повседневного и распространённого паразита.

⁷³ Мичурин И. В. Материалы для выработки правил воспитания гибридных сеянцев при выводке новых сортов плодовых растений. Т. 1, сс. 342-343 и 339-340.

уже дискурс власти, достаточно подставить вместо слова “селекционер” слово “революционер” или “партия”, чтобы убедиться в политическом характере этого дискурса, и всё же он не теряет связи с биологией. И далее, ещё виртуознее: “...широко известно, что Мичурин в ряде работ говорит о *спартанских* условиях воспитания сеянцев. ...Мичурин предпринимает смелые шаги, чтобы *заставить* сеянцы развиваться в сторону... чувствуешь дыхание гения в его борьбе со стихией природы, как бы присутствуешь при рождении гениальной мысли *об управлении доминированием путём ментора*”⁷⁴. Так в устах власти теория доминирования выступает в качестве естественнонаучной теории принудительного управления развитием общества с акцентом на особой роли ментора (последний в данном случае является субститутутом вождя). Жанр, представленный здесь, можно с полным правом называть **естественнополитическим**.

Итак, с одной стороны, естествознание в советских условиях требовало, по существу, двойной легитимации, а с другой — сама власть находила легитимность собственных стратегий в сфере естествознания. Двойственность легитимации науки заключалась в том, что, во-первых, она должна была осуществляться в рамках корпорации специалистов, *профессиональное* признание которых *гарантировало* законность научного направления или научной концепции. Так Презент объявляет Мичурину творческим последователем Дарвина; Лысено объявляет себя учеником⁷⁵ Мичурина; таким образом процедура легитимации в рамках научного сообщества соблюдена. Во-вторых, легитимация была связана собственно с истиной власти, *официальное* признание которой *санкционировало* легитимность науки. Таким образом законы науки приобретали вторичный статус по отношению к закону власти. Первые, помимо научной верификации, должны были быть ещё испытаны и подтверждены в категориях власти.

Эта складка приводит к тому, что жанрово-гомогенный дискурс естественных наук имплицитно расщепляется на два гетерогенных. Но потребность власти в собственной легитимности, не

⁷⁴ Цит. соч., т. 1. — Презент И. И. Теоретический путь основоположника творческого дарвинизма. сс. XLII-LII.

⁷⁵ Примечательно, что Мичурин не был знаком со своим учеником, и лишь за полтора года до своей смерти в 1933 году он получает “Бюллетень Яровизации” со статьей Т. Лысенко и надписью: “Дорогому учителю Ивану Владимировичу. От неизвестного ученика Т. Лысенко”.

обращаясь напрямую — как это принято — к социальным слоям, но минуя их, — к естественным наукам, обнаруживает стремление объяснить и оправдать себя природными законами, т. е. приписать себе неустрашимый субстанционально-природный статус. Власть в качестве природной силы — есть ли ещё какое-то более легитимное и предельное основание? Фактически ращепление происходит и в дискурсе власти: она начинает говорить не только в политических, но и в категориях испытания естества. Нарушение жанровых границ в рамках межвидового скрещивания власти и науки приведёт в дальнейшем к кардинальным последствиям в сфере производства знания.

Это же межвидовое скрещивание жанров производит на свет особую естественнополитическую стратегию, обобщенная суть которой заключалась в *прямом силовом (в том смысле, как употребляется этот термин в ньютоновской физике) воздействии на социальную среду с целью её трансформации к некоторому проективному организму с набором заданных, желаемых параметров и функциональных возможностей*. Метафора **организм**, повсеместно применяемая учёными, публицистами и политиками к обществу, при этом хотя и обладает сугубо физикалистским статусом, но имеет познавательно и практически наиболее наглядный и вполне приемлемый большинством образ. Этот образ абсолютно соответствует в своих коннотациях основным характеристикам, приписываемым социуму, как-то: целостная система, взаимозависимые и соподчинённые элементы целого, строение (т. е. анатомия), органы, центр, правое-левое, низ-верх и т. п.

Помимо этого, *организм* в качестве естественнонаучного политического представления (*политического образа мира*, сказал бы Георгий Гачев) есть в то же время и *обобщённая диаграмма* приложения и распределения множественных властных сил, определяемых в конечном итоге количественной мерой их взаимодействия, т. е. количествами **массы**, стоящими за ними, и **скоростью** политических действий. В данном случае формула политической силы — это формула физической силы $F = ma$.

Несомненно, что динамизм естественнополитической диаграммы коррелирует с динамикой взаимодействия политических стратегий и научной среды, но в любом случае остаётся структурно организованным, в отличие от конкретной ризомы множества политических действий, альянсов и конфликтов, практик и отношений в сфере науки. Иными словами, гетерогенность и гетероморфность микросоциальных и микрополитических полей здесь всегда оказывается редуцированной к гомогенной диа-

грамматике “органического целого”, каковым представляется социум в качестве организма его естественнополитически образованным агентам. И если физическая реальность — это всегда некоторая незавершённая и открытость, то естественнополитическая диаграмма, напротив — всегда системно организована, т. е. замкнута и самореферентна.

Именно эта диаграмма в большинстве случаев оказывается неявной, но фундаментальной предпосылкой как научного, так и политического дискурсов. Именно эта естественнополитическая диаграмма в её сравнении с некоторым ограниченным числом таких же диаграмм становится источником *нормы* (эталона или образца), на основе которой конституируется научнополитический проект реорганизации социума. Следующим шагом естественнополитической науки, соответственно, становится выбор подходящих методов преобразования, политической стратегии достижения *должного*.

В сущности, это и есть основные моменты **политического значения природы или естественнополитического взгляда на мир**, о котором идёт речь. Политическое *воображаемое* работает в топологическом зазоре между *реальным* и *символическим* и в этом отношении конституирует фантазматическое пространство, пороком которого оказывается сама естественнополитическая оптика, политическая физиология глаза. Другими словами, прежде чем компетентно видеть, политическое зрение предполагает формирование перцепции как таковой. Эта *перцептивная политика* размещается между словами и вещами, между видеть и говорить, между речью и действием, вводя вместе с собой особые силы асимметрии, силы возмущения-кривизны социокультурного пространства, преломляющие частное некомпетентное зрение отдельных социальных агентов и “выводящие” его на уровень политического (конечно же — реального, объективного и истинного) видения ситуации. Природа, с этой точки зрения, не пассивное и автономное в своих физических закономерностях нечто, но активное начало, подтверждающее и предписывающее политические концепты и стратегические действия.

Именно отсюда берут истоки претензии политических естествоиспытателей объяснять, *как было и как оно есть “на самом деле”*. Сакраментальная формула “на самом деле” является предельным аргументом естественнополитического дискурса. Между тем, разыгрывая ситуацию максимальной реальности, под которой разумеется власть, доходящая до статуса природной силы, этот дискурс не отвечает на основной вопрос, работающий в качестве предпосылки такого рода фундирования, а именно: так что же нас

обманывает в обиденном взгляде на мир — глаза или слова, тело или речь, недискурсивные предпосылки языка или сигнификация? Но зато этот дискурс пропишет, какие нам необходимы очки, т. е. протезы, чтобы видеть ситуацию “в истинном свете”.

Разумеется, естественнополитический взгляд на мир не является результатом преднамеренного корпоративного сговора политиков и учёных, дистанцирующих рядового социального агента от понимания тонкостей и хитросплетений событийности. Здесь позиция знания связывается с необходимостью инструментов политической легитимации, с помощью которых санкционируется исследование фактов и феноменов мира. Но как только такая связь возникает, власть начинает рассматривать природную среду и её законы в качестве “родственных”, однопорядковых самой себе. Суть вопроса только в том, как и где производится этот инструмент легитимации? Какого рода технология скрывается за данным производством и как эти инструменты соотносятся с соответствующей предметной областью?

В какой степени наука как таковая оказывается фундаментом и легитимирующей идеологией политической сферы деятельности, и наоборот? Во всяком случае, как мы видим, для России связь между естествознанием и политическими стратегиями представляется весьма существенной. Научно-теоретические разработки и практические принципы испытания естества от Сеченова до Лысенко были полностью интегрированы большевистско-сталинской политической системой. Именно последняя создала непреходящие образцы политической ортопедии, производя перенос естественнонаучных принципов на способы политического действия и инспирируя именно эту сторону научных исследований.

Итак, с одной стороны, естественнополитический взгляд на мир предполагает особую сборку социальной оптики, позволяющую “видеть” превращённое, скрытое, невидимое, тайное в истинном свете. С другой — представляя общество в качестве организма, власть, в соответствии с физиологической нормой (т. е. в соответствии с *природой вещей*), осуществляет протезирование его дисфункциональных, “аномально” развитых органов. И в том, и другом случае в качестве фундаментальной предпосылки политической стратегии работают клинические, естественнонаучные полигоны испытания и нормализации естества, специфическим образом поддерживая определённый тип формации власти и, в свою очередь, поддерживаемые последней. Именно этот альянс вознёс посредственного любителя-огородника на вершину социального Олимпа.

Мичуринская биохтоническая педагогика вполне коррелировала с эпохальной задачей воспитания нового человека и, в отличие, например, от абстрактно-гуманистической педагогики, которую развивала Н. К. Крупская, обладала абсолютно наглядным, т. е. очевидным, характером для российской крестьянской кочевой массы. Невинность этой стратегии, направленной на сборку органического тела с заданными свойствами, камуфлируется “естественной” растительной невинностью из мира крестьянских представлений. Сексуальная регуляция, контроль за скрещиванием, купирование (кастрация), изоляция, инцест, стерилизация, селекция производителей, манипуляция генитальными эквивалентами — все эти приёмы натурального мира, лишённые растительной метафоры, в культурном мире кажутся чудовищно невозможными. И всё же дело Мичурина ещё в царские времена не представлялось таким уж невинным. Сохранились свидетельства массового недовольства прихожан разнузданностью, аморализмом и безоглядными масштабами его экспериментаций. Возмущение дошло до того, что протопоп Христофор Потапьев потребовал от имени духовенства и паствы прекратить эти опыты. “Твои скрещивания, — заявил он, — отрицательно действуют на религиозно-нравственные помыслы православных... Ты превратил сад божий в дом терпимости!”⁷⁶

С точки зрения истины веры, деятельность Мичурина оказывается абсолютно нелегитимной. Ботанический промискуитет, в котором обвинил Потапьев естествоиспытателя, несомненно, имел решающее значение в его работе, более того, если обратить внимание на характер многочисленных рисунков Мичурина, то можно обнаружить особенную диаграмматику желания, графически зафиксированную в флюктуации плодово-женской фигуративности и распределяющую ненормированное либидо селекционера.

Феномен совмещения естественнонаучного и политического так овладел знаковой ситуацией, что, пожалуй, его никто не избежал в советское время. Ещё один показательный образец того, как практика тюремной камеры органично входит в приёмы научной работы. Речь идёт об архитектурных исканиях знаменитого физиолога И. П. Павлова⁷⁷. Его проект испытательной лаборатории (и последующая его реализация) принципиально иначе ре-

⁷⁶ Цит. соч., т. 1, с. 45.

⁷⁷ См. И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных М., Медгиз, 1951, сс.159-161.

шает задачу *Паноптикона* Бентама. Если Бентам основным фактором своей тюремной архитектуры считал задачу полного надзора из точки, позволяющей видеть всех и между тем оставаться вне поля зрения поднадзорной стороны, то Павлов отдаёт предпочтение абсолютно изолированным (застеночным) пространствам⁷⁸ с максимальной эффективностью наблюдения по формуле “один поднадзорный и множество наблюдателей”. Несомненно, этот проект является инверсионным *Паноптикону* Бентама, где один надзиратель наблюдает за множеством заключённых, но именно эта инверсия и делает его неизмеримо эффективнее. Принцип тюремного глазка, позволяющего видеть невидимое, мультиплицируется Павловым не только в точках архитектурного надзора, но и в анатомии поднадзорного испытуемого. Фистула делает скрытые реакции животного видимыми и тем самым позволяет считывать и контролировать феномены рефлекторной дрессуры.

От дискурса естествоиспытаний к дискурсу власти, от селекционных техник к манипуляции человеческим материалом — такая логика стратегического трансфера в социальном поле. Политику испытания естества никогда не останавливают жанровые различия, она перверсивно без-различна к специфике среды функционирования, к роду, виду и полу брачующихся дискурсов и тел. Если говорить в естественнополитических терминах, то мы могли бы обозначить генерализующую тенденцию данной стратегии так: взаимная легитимация жанров посредством стратегического трансфера приводит к созданию *оппортунистического жанра*, сочетающего в себе гетерогенные дискурсы, т. е., как бы это ни казалось странным, жанра, напоминающего своими принципами постмодернистскую формацию.

Но если далее говорить уже в терминах постструктуралистской архаики, то мы могли бы обозначить тенденцию данного трансфера ещё и так: реализация идеологии должного за счёт желания позволяет обнаружить как в направленном отборе (не исключая и кинематографический монтаж), так и в стратегии власти сведение веера шизопрактик к центрирующему паранойяльному синтезу. Хотя, если быть более точным, то направленный отбор можно определить по темпоральным причинам как постепенный, или эволюционный монтаж, т. е. как вялотекущий шизо-процесс (“с ментором в голове”). И именно тот факт, что скорость биохтонических машин намного меньше скорости техни-

⁷⁸ Сотрудники Павлова называли эту лабораторию “Башня молчания”.

ческих, киноделательных и политических машин, предопределил торжество киноискусства и политики в XX веке и отсутствие персиков в Тамбовской губернии. В данном случае, при всей своей гениальности, Мичурин не учёл идеологической конкуренции машин желания. Между тем как именно скорость стала решающим фактором в конкуренции машин желания российского образца.

Сегодня становится ясным, что победа кинематографа над биохтоническим проектом была предопределена его аудиовизуальной симуляцией антропологических параметров восприятия и реализации. Но именно это же обстоятельство явилось причиной его последующего поражения. Примерно с середины тридцатых годов в Советском Союзе абсолютную пальму первенства захватили более скоростные речевые идеологические машины желания. Поскольку историческое время реализации желания в них редуцировалось до времени речевого акта, это позволило развивать невиданные прежде сверхскорости. Приведём простейший и типичный пример речевой идеологической машины желания, основанной всё на том же принципе направленного отбора, или монтажа, и бывшей (наряду с юннатством) наилюбимейшим оружием в детской военно-патриотической пионерской организации:

“Чтецы-пионеры:

- | | |
|------------|---|
| первый: | Продолжается подвиг великий,
и повсюду Магнитки гудут. |
| второй: | Словно Ленин миллионоликий -
по земле коммунисты идут. |
| третий: | Повсеместно,
где скрещены трассы свинца, |
| первый: | где труда бескорыстного невпроворот, |
| второй: | сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца: |
| вместе: | Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд! |
| четвертый: | Быть коммунистом -
значит верить, |
| пятый: | что достижение — не предел. |
| шестой: | Быть коммунистом — |

день свой мерить
 третий: шкалой грядущих дней и дел.
 пятый: Они равненье на тебя, Отчизна,
 берут в борьбе со всех земных широт,
все вместе: а ты в пути —
 к вершинам коммунизма
 тебя родная партия ведёт!⁷⁹ и т. д., и т. п.

В обобщённом виде можно отметить, что монументализация должного в любой машине желания организует через монтаж *систематизацию* бреда желания, “с точной установкой на определённый конечный тематический эффект” (С. Эйзенштейн): ортопедическая речь в качестве тьютора, корсета призвана выправить ментальную картину мира пионера и подготовить его к служению должному. Должное устанавливает свой террористический режим с опорой на собственную контринвестицию, оставляя желанию роль “изобразительных кусков” в сюжетной интриге, т. е. роль аттракционов.

Должное — присутствующее отсутствие — это закон политической ортопедии, тщательно отработанный на приусадебном участке власти и тотально распространивший себя за счёт избыточной доминации. Как пионерский монтаж требует пионервожатую, а селекция — натуралиста, так и господство должного проистекает из монополии речевой идеологической машины, которая, инвестируя себя в различные порядки машин желания, подчиняет их сверхскорости тотального дискурса, принцип единства которого абсолютно и радикально симулятивен. Успех паранойяльной машинерии связан также с необычайной дешёвой и широкой распространённостью используемых аппаратов артикуляции. Именно в них персонифицируется анонимный голос божественного долженствования, т. е. осуществляется то, что Эйзенштейн назвал “вертикальный монтаж”, сопоставляющий речевую тему с эмоциональным строем, пафосом и интонационными обертонами индивидуального речевого органа⁸⁰.

⁷⁹ Часть сценария пионерского праздника, полный вариант см. в: *Русский язык и литература*, № 3, 1987.

⁸⁰ Я уже не говорю о множестве тех элементов, которые относятся к другому чувственному ряду: скажем, рост декламирующего пионера, его одежда, цвет лица, запах пионера, выправка, опорно-двигательная моторика и т. д.

Паранойяльные синтезы в монтаже/отборе являются не чем иным, как способом легитимации власти в машинах желания, носит ли эта власть характер табу, традиции, закона, нормы или должного. Сопоставляемые элементы (изображения у Эйзенштейна, подвой и привой у Мичурина, фразы-*token* у пионеров) соотнесены с результирующим целым, которое до своей собственной актуализации подчиняет эти частичные несамодостаточные объекты и определяет им должное направление улавливания его же в качестве отсутствующего. В-мире-бытие должного здесь и теперь — это отсутствие, но его нехватка наличествует, и следовательно, обладает репрезентативностью. Репрезентация отсутствия — решающая сила доминанции должного в ортопедической стратегии власти. На уровне психосоматической девиации показательным примером паранойяльно организованной машины желания может служить транссексуализм маскулинного типа, в котором клиническая недостача-отсутствие запускает механизм монтажно-хирургического вмешательства и восполняется органическим протезом. Ущербность половой дифференциации угасает в фаллическом совершенстве политикосексистского проекта, открывая своим примером широкую дорогу сексуальным ортопедическим машинам желания.

С концом господства большой подгнившей речевой идеологической машины паранойяльные машинизмы были выброшены на рынок (пока ещё вполне символического характера). Но рынок в эпоху отсутствия (дефицита) утверждает всё ту же формулу Мичурина “чего нет, того и хочется”. С заменой господства должного на господство нерепрезентативного отсутствия машины желания приобрели ярко выраженный истерический характер.

Такой исход паранойяльных машин в истерические был бы окончательным и безальтернативным, если бы на горизонте и политики, и кинодеятельности не замаячили новые образцы машин желания. В сфере искусства — это параллельное кино, которое отказывается от центрирующего синтеза и одновременно от мелодрамы отсутствия. Монтажные машины организуются здесь на легитимации самого желания, а отсюда — утверждение множественности, высвобождение желания в изначально гетерогенную пульсацию. Это шизомашины желания. Их производство сродни мастурбационным практикам, игнорирующим должное и неабсолютизирующим отсутствие. В сфере политики достаточно обратить внимание на деятельность парламентов, чтобы увидеть как посредством шизофренизации желания большие машины власти “идут в разнос”. И если микрофизика власти в отдельных группах всё ещё носит истерический характер, то

общий контекст указывает на решительную шизофренизацию. Это обнадеживает, поскольку указывает на возможности последующего (вос-)становления русского *психоделического социума*, как исторически наиболее адекватного для взаимодействий разноразмерных гетерогенно фрагментированных потоков социальности российского типа.

Ноябрь, 1990; октябрь, 1994

ФЕМИНОЛОГИЯ

Вл. СОЛОВЬЕВА

Основной период творчества Вл. Соловьёва совпадает с широкомасштабным распространением нигилизма в среде как европейских, так и русских интеллектуалов. Эпоха нигилизма в качестве своей собственной формулы, пожалуй, могла бы взять изречение Фридриха Ницше “Бог умер”. Изречение “Бог умер” в качестве одной из доминирующих коннотаций означало факт разрушения классических конвенций, структурировавших до сих пор достаточно однородное ментальное и мировоззренческое пространство новоевропейской культуры. Фрагментация и обособление национальных дискурсов не нуждались более в генерализующем абсолюте, эти дискурсы к этому времени обрели относительную самостоятельность и самодостаточность. Вместе с тем в этом тезисе просматривается попытка вывести Бога из сферы Творца в сферу человеческого бытия с его принципами времени, истории, становления, жизни и смерти, попытка применить к сверхъестественному Творцу критерии тварного мира, т. е. мира естественного.

Носителем нигилизма в России выступает разночинское сословие, активное формирование которого начинается с середины XIX века. Стратегия русских разночинцев была очень точно определена И. Тургеневым: отказ от отцов и испытание естества. Эта стратегия становления разночинцем-нигилистом предполагает радикальный отказ от ценностей предшествующего поколения, отказ от патриархального типа трансляции социальной связи. К тому же, разночинец-нигилист, поскольку он не принадлежит ни к одному традиционному сословию, ощущает себя генеа-

логическим сиротой. И это сиротство ещё в большей степени позволяет ему быть свободным от мира традиционных ценностей, ещё в большей степени позволяет ему осуществить волю к ничто — то, в чём и посредством чего осуществляется нигилистическая дезинтеграция любых предшествующих норм и принципов.

Не принимая ничего на веру, разночинцы-нигилисты требуют естествоиспытания как критерия истинности и адекватности наших представлений о мире. Испытание естества оказывается единственной ценностью русского нигилизма, которая впоследствии найдет себе благодатную почву для осуществления в грандиозных масштабах.

Несомненно, Соловьев не мог миновать проблемное поле, развёрнутое нигилизмом. (Кстати, в свое время он и сам прошёл через культ естествознания.) Более того, значительная часть его философского творчества была посвящена задаче позитивного решения тех проблем, которые сформулировал нигилизм. Такова его идея *всеединства*, которую он попытался воплотить в своей философии вопреки тенденции дифференциации и фрагментации классического дискурса. Правда, средства воплощения этой идеи он находит вне классических канонов.

Общеизвестно пристрастие Вл. Соловьёва к классическому философскому системотворчеству, но не менее существенна и его же собственная борьба с этим пристрастием. В своей систематике, внешне следуя Шеллингу и Гегелю (особенно триадам последнего), Соловьёв тем не менее не укладывается в гегельянский диалектический канон, то и дело специфически нарушая его. Идея всеединства (и цельного знания), казалось бы, могла быть реализована философом именно на пути самозамыкающейся системы гегелевского типа. Но машинно-диалектические процедуры у Соловьёва обнаруживают специфические сдвиги и синкретические спайки, то и дело обнажая а-диалектическую логику и характер его мышления, заводя многих его исследователей и интерпретаторов в тупик. Таков, например, характер взаимоотношений основных соловьёвских понятий “сущее — бытие — сущность” и “абсолютное — логос — идея”. Конверсию этих двух понятийных линий сам Соловьёв обосновывает не диалектическими процедурами взаимоперехода, а принципом “все во всем” осуществляемым за счёт *последовательного “обладания”* (а не “зеркального отражения” друг в друге, как это утверждает А. Ф. Лосев): “...сущее не тождественно с бытием, но имеет бытие или *обладает* бытием. Обладать чем-нибудь — значит иметь над

ним силу, так что сущее должно определяться как сила или мощь бытия...»⁸¹

Речь идёт об обладании как сущности отношений между понятиями. Обладание в этой связи понимается не в юридическом или экономическом смысле, но в смысле отношений любви. Горизонтом логического мышления Соловьёва оказывается дихотомия женского и мужского начала, которую он и проецирует на систему понятий и обнаруживает там. Но существо этой дихотомии в том, что именно через неё реализуется «потенция абсолютного всеединства»⁸². Для Соловьёва наиболее значимыми в этой дихотомии оказываются два момента: а) то, что в ней содержится индивидуальность различных форм; и б) то, что свою истинность эти формы осуществляют за пределами своей обособленности, т. е. во взаимном единстве.

«Обладание», поставленное в тексте Соловьёва в форме курсива, позволяет ему создать умышленную дистанцию по отношению к нормативному типографскому набору и приблизить это понятие к рукописному — письменному, личному, интимному, исповедальному — графизму. Обладание как близость, как устранение разделяющего расстояния. И обладание как сила, как способность перехода границ обособления, т. е. сила в её трансгрессивном, экстаическом измерении.

В этом поле смысла разворачивается соловьёвское определение «любви»; сущность её как силы всеединства не в коитусе, не в либидо и даже не в эресе, а в экстаическом обладании, устанавливающем близость без границ, отрицая обособление. С этой формулой связаны все антропологические модусы половой любви, но последние не подменяют и не поглощают её метафизического статуса⁸³.

Вл. Соловьёв мыслит сериями и их связями, связями любви-обладания в их положительной силе и производящем начале. То есть обладание является той силой, которая собирает понятийную серию. Обладание тем самым полагается внутренним пределом философского дискурса в качестве позитивного утвердительного тезиса на пути познания истины, я скажу — и её воплощения: на пути к женскому началу. Разумеется, этот тезис не утверждается

⁸¹ Вл. Соловьёв. Критика отвлечённых начал. Соч., т. 1. М., Мысль, 1988, с. 700.

⁸² Вл. Соловьёв. Смысл любви. Соч., т. 2. М., Мысль, 1988, с. 504.

⁸³ К чему, напротив, в большей мере ведут интерпретации А. В. Гулыги в предисловии к двухтомнику Вл. Соловьёва (серия «Философское наследие»).

у Соловьёва логически, он самоутверждается безотносительно (подобно Богу Отцу в противоположность Логосу).

Способность обладания категориальных начал производит (= порождает) сигнификативные или понятийные серии: сущее в последовательной вязке с абсолютным, логосом и идеей производит, соответственно, дух, ум и душу; сущность — благо, истину и красоту и т. д. Так возникает активный синтез понятийных цепей, работающий, стало быть, как любовный агрегат.

Я не утверждаю категорически, но предполагаю, что стиль мышления Вл. Соловьёва именно таков, и хочу подкрепить свое предположение ещё одним — из множества других — примером, связанным с исследованиями мифологии.

Философия мифа Вл. Соловьёва так же реализуется на основе серийной логики. Мифология разделяется им на следующие фрагменты: ураническая (мифология высших духовных божеств), солярная (боги материальной природы) и, наконец, фаллическая мифология (мифология слияния духовного и материального начала). Здесь фаллическая мифология выступает как положительная сила обладания, как сверхскоростной фрагмент, собирающий серию. Вместе с тем Соловьёв на концептуальном уровне фиксирует, что истоком язычества и его определяющим фактором являлся фаллоархат — конституция культуры посредством патриархального канона.

Итак, если для Вл. Соловьёва Бог “не умер”, то какого же рода событие свершилось в мире? Почему утрачена целостность и торжествует нигилизм? Почему мыслят разлад в самой божественной сфере? Именно в этом контексте Соловьёв анализирует и по-новому переосмысливает старую теологическую проблему единого Бога и Святой Троицы. Не решив этой проблемы, нельзя осуществить саму идею всеединства, нельзя уяснить и “цель России” для человечества. Здесь “русская идея” напрямую связывается с общетеоретическими исследованиями и их результатами.

В отличие от европейской теософии, в которой принципиально разделение сферы Творца и тварного бытия, а триединство Бога имеет аксиоматический характер, теософия Соловьёва не проводит абсолютной границы между Творцом и тварью, а триединство Бога расслаивается специфическим субординационализмом, иерархизирующим ипостаси от Бога Отца через Бога Сына к Святому Духу. Эти несоответствия с христианской ортодоксией вызывали у многих недоумение или даже осуждение. А. Ф. Лосев

вообще объявляет их “результатом словесного недосмотра”⁸⁴ философа. Такого рода упрощение пытается исключить, под видом “недосмотра”, существенную работу мысли Соловьёва, ориентированную на совмещение сфер божественной и космической посредством женского начала. Непредвзятый анализ показывает, что язык Соловьёва чрезвычайно осмотрителен там, где он касается проблемы феминной перемотивации культуры.

Просматривая ход мысли Соловьёва в “Чтениях о Богочеловечестве”, можно подумать, что он всерьёз принимает доводы нигилистов о разладе в божественной сфере. Если это и так, то основания этого разлада он видит совершенно в ином, а именно: *в нашем способе мыслить Бога*. И дело не в том, что нигилизм смешивает две несоизмеримые сферы бытия. Бог живет, конкурирует со своими репрезентациями и, наконец, умирает для нигилизма в большей степени потому, что его мыслят как патриархального, фаллического бога. Нигилисты, отказавшись от своих отцов, вместе с тем стаскивают “за крайнюю плоть” (перифразируя Ф. Гваттари) с небес и Бога Отца. Драма Бога в постановке Ницше оказывается соотносимой с драмой Гамлета, которая, по Соловьёву, “имеет смысл только на почве чисто языческого понятия о родовой мести”⁸⁵, а точнее, вследствие христианской и языческой раздвоенности нравственного закона. И чтобы показать исток такого рода раздвоенности, Соловьёв возводит генеалогию “Гамлета” к античному сюжету Орестеи, драматургия которого связана со столкновением двух законов — гинекократического и андрократического, т. е. материнского и отцовского права.

Соловьёв находит спасение в радикальном изменении способа мыслить Бога, для этого он апеллирует к Мудрости, она же София, женщина — *Femininum*. Представим себе в более детальном виде специфику соловьёвского подхода к этой проблематике:

1. Если нигилизм (а в латентной форме, кстати, и позитивизм) возвещает смерть Бога, то каковы возможные последствия этого прецедента? Сам нигилизм видит в этом “событии” три основных сюжета⁸⁶:

— бог Старого Завета убивает бога Нового Завета, чтобы занять его место в новой религии;

⁸⁴ См. Лосев А. Ф. Вл. Соловьёв. М., Мысль, 1983.

⁸⁵ Вл. Соловьёв. Жизненная драма Платона. Соч., т. 2. М., Мысль, 1988, с. 599.

⁸⁶ См. по этому поводу в книге: Gilles Deleuze. *Nietzsche et la philosophie*. P., 1962.

— еврейский бог убивает христианского бога, чтобы стать всеобщим космополитическим богом “для всех”;

— отец убивает сына, чтобы посредством этой жертвы отпустить нам наши грехи, а мы впредь чувствовали бы себя виноватыми, и верили ему, и любили его.

Из всех этих мотивов нигилизм выводит общее заключение: высшие христианские ценности являются фикциями.

2. Что может противопоставить ортодоксальное христианство подобной точке зрения? Аксиоматический постулат триединства Бога. Принимая эту аксиому, догматика утверждает, что Сын Божий есть лишь ипостась одного и того же Бога, а значит, об убийстве или смерти Бога не может быть и речи.

3. Соловьёв со своей стороны, чтобы разрешить этот узел проблем, создаёт специфическую *феминологию*. Для Соловьёва как философа, поверяющего веру разумом, аксиоматический подход к проблеме неприемлем. Допуская субординационализм в божественной сфере, он возвращает ей единство, устраняя посредством феминологической процедуры патриархально-языческую и иудаистскую мотивацию раскола этой сферы.

“Бог умер”

Ортодокс. христ.

Соловьёв



Нигилизм:

1. Триединный Бог гомогенен.

2. Голубь, Логос, Мария — это только транспортные средства Бога в сфере его репрезентаций.

Высшие христианские ценности — это фикции.

1. Триединный Бог имеет скрытую субординацию.

2. София покрывает Отца, Сына и Святого Духа и обеспечивает единство божественной сферы посредством вагинальной силы обладания.

Для того чтобы преодолеть семейно-родовой антагонизм с его поколенческими претензиями и соперничеством, мы должны, по Соловьёву, отказаться от языческого представления о Боге. Ортодоксальное христианство парадоксальным образом наследует язычеству в деле фаллического приоритета культуры. Нигилизм же лишь сделал явными патриархальные предпосылки христианства. Между тем как взгляд Соловьёва обращён к женщине. Реформаторская мысль Соловьёва, как он полагает, движется в направлении аутентичного христианства, которое возможно лишь при отказе от фаллической силы обладания в пользу феминной⁸⁷.

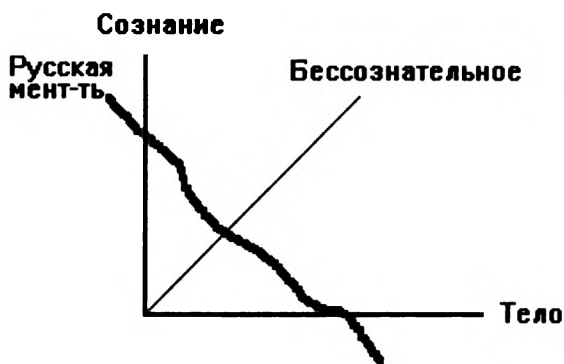
Поэтому не случайно то, что в “Чтениях о Богочеловечестве” Соловьёв утверждает радикальное тождество Софии с телом Божиим и телом Христа, включающим в себя Логос. Таким образом, София покрывает и Отца, и Сына, и Святого Духа, являет собой их всеединство. София — приоритетное реле, сверхскоростной фрагмент, собирающий божественную серию посредством вагинальной силы обладания. Бог для Соловьёва не умер и не сошёл с ума от де(три)персонализации, но, по существу, дополнен женским “полом”. И когда Соловьёв в своей концепции “русской идеи” отождествляет Россию с Софией, он тем самым пытается перемотивировать общеевропейские патриархальные предпосылки социальности в феминные — “в вечноженственное в русской душе”.

Способ мышления Соловьёва отражает в целом специфику классической русской ментальности, в которой недискурсивные предпосылки мышления определяют логическую конфигурацию и придают способам дискурсивной аргументации топологический (ландшафтный) характер. Режимы чувственности приобретают здесь статус грамматики. Они собирают и разделяют логическую структуру, исполняют роль связок, знаков препинания и пределов сигнификативного горизонта.

В зависимости от этой специфической сдвоенности опыта сознания и тела, от “эшеровской” фигуративности, которую они образуют в каждый конкретный культурно-исторический момент, конституируется та или иная логика смысла, а также модусы восприятия последнего. В русской ментальности не существовало ни системы, ни устойчивой практики чёткого аналити-

⁸⁷ Отличие соловьёвского подхода от ортодоксального аналогично здесь его собственному примеру с религией “вертидырников” или “дыромольев”, противостоящей мнимости “царства Божия на земле” и “нового евангелия” христианства без Христа. См.: “Три разговора”. Предисловие.

ческого разделения данного опыта. Речевой характер нашей культуры в связи с этим никогда не выходил за рамки его телесно-дидактического канона. Именно с этим каноном связан принцип “*правды*”, столь почитаемый в России. Правда отличается от истины уже только тем, что она глубоко топологична, телесна, т. е. выверена опытом страдания и жертвенности; она не просто обоснована логикой мысли, но прочувствована “нутром”, испытана “на собственной шкуре”. (Не случайно “правда” связана с такими эпитетами, как “подноготная”, “подлинная”, “горькая”, “правда-матка”, наконец.) По своему существу это *трансверсальный менталитет*, если пытаться определить его специфику относительно новоевропейского. Если провести сравнение классической русской ментальности с новоевропейской, то обнаружится следующая картина:



Поскольку в европейской культуре бессознательное было конституировано на основе различия опыта сознания и опыта тела, т. е. оно представляет собой некий артефакт, возникающий в результате постоянной чистки мышления от недискурсивных элементов, постольку сфера европейского типа ментальности распадается в конечном итоге на три аналитических пространства: сознание, бессознательное и телесный опыт. Классическая русская ментальность не была подвержена в своё время генерализованным дисциплинарным процедурам вытеснения, что и сделало возможным проникновение режимов чувственности в дискурсивную среду, придавая им психоделическую конфигурацию. Мир русской ментальности — это мир дискурсивно не распознающий бессознательного, поэтому её топология представляется трансверсальной относительно европейских аналитических пространств и не может рассматриваться без существенных противоречий в их рамках и языке, несмотря на множество общих зон конвергенции и симулятивных подобий.

УТОПЛЕНИЕ В ГОВНЕ

КАК СЕМКОТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС

Всякое активное слушание речи есть, по Бахтину, уже и подготовка ответа, самого различного по своему характеру: согласия, возражения, дополнения, прояснения, продолжения и т. п. Но находясь в ситуации коллективного сцепления высказываний, в речевой культуре невозможно поставить вопрос *о начале речи*, поскольку говорящий уже сам находится в ситуации отвечающего. "...Ведь он не первый говорящий, впервые нарушивший вечное молчание вселенной, и он предполагает... наличие каких-то предшествующих высказываний — своих и чужих, — к которым его данное высказывание вступает в те или иные отношения... Каждое высказывание — это звено в очень сложно организованной цепи высказываний"⁸⁸.

Итак, мы не знаем, кто заговорил первым. И никогда этого не узнаем. Коллективное устройство высказываний поглощает нас и увлекает за собой, чтобы где-то за соседним поворотом тут же забыть нас и увлечь другого. Но поскольку всякое обращение есть уже и ответ, мы можем хоть как-то определить свои координаты среди ближайших адресантов-адресатов. Я понимаю всю чудовищную искусственность этого предприятия: наша конструкция (как бы мы ни упирали на дедукцию и аристотелевскую силлогистику) будет абсолютно произвольной для ризоматической, нелинейной и нецентрированной, структуры высказываний. Но какой бы фантазматической и симулятивной ни была

⁸⁸ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1979, с. 247.

эта конструкция, мы вновь и вновь пытаемся расположиться в ней, как паук в центре своей хитроумной сети. Мы не можем без ориентаций и ориентиров. Мы хотим линейности и последовательности. У нас природа и история имеют начало (а раз так, то и концы отыщутся), мы оперируем понятиями в их последовательном развертывании, мы видим, как из семени от простого к сложному развиваются организмы (опять же по пути длительного естественного отбора), мы наблюдаем, как встаёт и заходит солнце. И вот уже *мир* (космос) — это неподражаемый, естественный (мы говорим объективный) образец порядка и гармонии. Такой же, соответственно, должна быть и наша научная *картина мира*, если она претендует на истинность. Меня поражает, как нам удался этот фокус?!

В связи с этим мне вспоминается один клинический случай: в психиатрическую лечебницу доставили согнувшегося человека, держащегося руками за живот, с искаженным судорогой красным лицом. Как выяснилось, этот человек страдал паранойей. Суть его бредового фантазма заключалась в том, что он не желал мочиться, несмотря на всё более ужесточавшиеся болезненные физиологические позывы переполненного пузыря. Когда его спросили, почему он этого не хочет делать, он ответил, героически сдерживая мучения, что не мочится из страха вызвать всемирный потоп. В конце концов физиология взяла своё, и он с душераздирающими криками принялся отправлять уринальную потребность, но вскоре быстро затих, пристально вглядываясь в своё дело. Когда всё завершилось, он с громадным облегчением сказал: "*Мой фокус удался!*" Оказалось, что в агонии переживания всемирной беды ему удалось на самом пороге неминуемой катастрофы осуществить реверсию собственного зрительного восприятия: он начал видеть движение жидкости ретроактивно, т. е. так, как будто она не вытекает, а втекает в него. Паранойя опять нашла достойную своих масштабов идею — ведь теперь он превратился в небывалого доселе спасителя человечества.

Точно таким же фантазматическим способом действует классическая философия языка, некритически полагающая, что если двигаться ретроактивно по цепи сигнификации, то мы обязательно придем к означаемому источнику сигнификации, т. е. к субъекту. Ретроактивная топологизация субъекта, или же трансценденция, — это все тот же способ мыслить и ориентироваться линейно, безотносительно к ризоме коллективных сцеплений высказываний. В опоре на грамматику и глубинный синтаксис строится форма нарратива, внутренняя структура которого предопределяется вместе с тем некой жанровой целостностью,

локальной и единой в множественном семиотическом поле. Удержание жанра становится способом удержания идеологии порядка единого исчисления да и самой возможности ментальной ориентации. Безумие может квалифицироваться теперь уже на основе простого *неудержания жанра*⁸⁹ как впадения в недифференцированный хаос.

Так что же происходит с вестибулярным аппаратом мышления, как только оно оказывается в нелинейной ситуации с минимальными возможностями спасительной редукции? Можем ли мы вводить нормативную шкалу психических состояний там, где проблематизируется сама нормативность? Другими словами, возможно ли в ситуации распада жанра до гетерогенных фрагментов сохранение содержания как такового, является ли содержание жанровым модусом, или оно формируется на других уровнях лингвистического поля? Или же за него ответственно нечто иное, никоим образом не покрываемое полем языка, и все лингвистические претензии⁹⁰ на полномочное владение содержанием оказываются беспочвенными? Может быть, прав в своей настойчивости Феликс Гваттари, доказывающий, что содержательное поле производится не машиной “языка в себе”, а коллективным устройством высказываний, т. е. в конечном счете особой формацией власти, кристаллизованной в языке?

СЛУЧАЙ ИЛЬИЧА

Не вдаваясь в споры о том, кем же был Ленин в последние годы своей жизни — полновесным вождем партии и пролетариата или “живым трупом”, не способным контролировать элементарные физиологические функции, я хотел бы выделить только языковой аспект его жизнедеятельности в этот период. Приступы афазии начались у Ленина ещё в мае 1922 года, а окончательное поражение речи случилось в марте 1923. Вот что по этому поводу пишет Н. Петренко, один из самых добросовестных и документально дотошных исследователей: “Одним из последствий удара 10 марта 1923 явилось практически полное поражение произвольной речи. С этого времени словарь Ленина ограничивался

⁸⁹ Что парадоксальным образом инверсионно квалификации безумия в случае “удержания мочи”.

⁹⁰ Феликс Гваттари в книге “L'inconscient machinique” (1979) характеризует эти претензии предельно критически: “Лингвисты являются империалистами!”

словами: «вот», «иди», «идите», «вези», «веди», «алья-ля» и некоторыми другими, в том числе и на иностранных языках («гут морген»). Все эти речевые остатки произносились больным непроизвольно, никакой семантической нагрузки не несли, повторялись многократно вне связи с их лексическим содержанием. В последние три-четыре месяца жизни Ленин стал достаточно осознанно пользоваться междометием «вот-вот»⁹¹.

В полном тексте воспоминаний Н. К. Крупской “Последние полгода жизни Владимира Ильича” это клиническое состояние описано следующим образом: “Помогли ему [Ленину] взобраться по лестнице, крепко обнял он Преображенского, сел около него и стал говорить. У того больное сердце, побелел он весь, губы трясутся, а Ильич все говорит, рассказывает про пережитое. Слов у Ильича не было, мог говорить только «вот», «что», «идите», но была богатейшая интонация...”⁹² Для Крупской, уже многие месяцы находившейся “по ту сторону реальности”, несемантизированная огласовка Ильича — это рассказ. Но “по эту сторону реальности” нам можно только представить себе, что испытывал Преображенский, выслушивая “рассказ о пережитом” в трех словах, но с богатейшей интонацией!

Итак, когда Ленину отказала речь, он мог говорить только несколько слов — *вот, что, идите, аля-ля*; достаточен ли в свете вышесказанного этот тезаурус для политического тела⁹³? Может ли политический жанр обойтись тремя словами вождя и остаться при этом жанром? Случай Ильича показывает, что это вполне возможно! Если, по Эд. Сепиру, *язык есть то, к а к думают*, то здесь мы имеем факт практического опровержения этого утверждения. Конечно, между конкретными политическими коммуникантами в той ситуации (Ленин и Шумкин, Ленин и Преображенский, Ленин и Пятницкий) всегда присутствовала еще одна фигура, фигура “переводчика” — не интерпретатора, нет, а именно переводчика ленинской клинической речи, немого танца интенсивностей. Перевод осуществлялся с “больного” на “здоровый”, и его делала Н. К. Крупская.

⁹¹ Н. Петренко. Ленин в Горках — болезнь и смерть. // Минувшее. Исторический альманах, т. 2. М., Прогресс-Феникс, 1990, с. 146.

⁹² Н.К. Крупская. Последние полгода жизни Владимира Ильича. // Известия ЦК КПСС, 1989, №4, с. 170.

⁹³ Поражает однотипность отпадения политических тел Ленина и Сталина от коммунистической машины власти, причем не только в сфере общей клиники, но и в характере языкового бытия самого политического жанра.

Многие из “общавшихся” в этот период с Лениным не вполне доверяли переводу и даже прямо ставили в вину Крупской неадекватность, произвольность и вымыслы в ее переводе⁹⁴, но никто из них не усомнился в наличии у адресанта собственно содержательного модуса “речи” при явном семиотическом коллапсе. Эта странная презумпция смысла распространяется на многие поступки и состояния вождя в периоды кризисных “ударов”, когда они менее всего могли быть осмысленны. Во всем этом сказывается общая установка *homo linguae* наделения значимостью любых феноменов, входящих в его поле. В этом отношении даже натуралистические замечания Н. Семашко о том, что предсмертной “ночью Владимира Ильича прослабило хорошо несколько раз”⁹⁵, оправданы общим производством семиозиса политического тела.

Несомненно, что афазия вождя, его индивидуально ограниченный словарь противоречит постоянной избыточности означающих в арсенале власти. Но если бы символический строй ленинского ума не позволял власти осуществлять себя как голос, если бы *вот-что-идите* означивали только нужду и потоки желаний его частного тела, то коммуникация в политическом поле не смогла бы состояться. Хроника свидетельствует обратное.

Этот существенный фактор случая Ильича говорит о том, что содержание, по крайней мере, принадлежит не только лингвистическому измерению, более того, коллективное сцепление высказываний в актах коммуникации позволяет даже минимальным единицам манифестации (не обладающим никакой грамматической связью) нести это содержание. Таким образом коллективное устройство высказываний оказывается в значительной степени ответственным за содержательный аспект. Здесь можно провести параллель с хлебниковской сигнальной презентацией: Ленин в качестве индивидуально-клинического тела был ограничен сигнальным употреблением слов, но процедуры политического прочтения носителя власти неизменно переводили презентацию в репрезентацию, приписывая ленинской фонации знаковый характер, т. е. располагая её в поле содержания. И эта экстралингвистическая процедура ясно показывает роль коллективного устройства высказывания в установлении политико-

⁹⁴ Е. А. Преображенский писал в связи с этим: “...я не все понимал, что он [Ленин] хотел выразить, и не всегда комментарии Н. К. [Крупской] были правильны, по-моему”. См. Известия ЦК КПСС, 1989, № 4, с. 186.

⁹⁵ Н. Семашко. Последние дни тов. Ленина. // “На вахте”, 1925, 21 января.

лингвистического значения бессмысленного — с точки зрения традиционной узкопрофессиональной жанровой нормы — речения, определяя его как значимый элемент структурной целостности, задающей в конечном итоге саму эту значимость как таковую. Здесь работает тот же принцип, который был взят впоследствии на вооружение чуткими до политической конъюнктуры яфетидологами (Н. Я. Марром и его последователями): чтобы объяснить языковое явление, необходимо выйти за рамки языкового бытия.

Итак, семиотический коллапс, возникающий в ситуации телесного эк-стазиса, позволяет увидеть механизмы порождения содержания — онтологии Я — в условиях мутации и распада жанра. Более того, даже распад синтаксиса и грамматики не устраняет означаемой стороны семиозиса, поскольку последняя может собирать себя и вне нормативных структур лингвистического поля. Именно на этой особенности сингуляризации содержания посредством пыточных телесно-лингвистических практик построена повесть Вл. Сорокина “Месяц в Дахау”.

СЛУЧАЙ ВЛАДИМИРА

“Месяц в Дахау” задуман как дневник писателя, проводящего свой отпуск в концентрационном лагере. За рамками прямого повествования остается своеобразная онтология, контуры которой построены на условных допущениях. Косвенно мы можем предположить, что войны сорок первого года между Германией и СССР не было (или на каком-то этапе войны было заключено перемирие?), и это обстоятельство по-иному структурирует геополитическое пространство. Очевидно, две “сверхдержавы” сотрудничают друг с другом, вплоть до культурных контактов, поскольку советский писатель может провести свой отпуск в Германии. Но эта сторона дела менее существенна, чем характер письма и те мутации, которые претерпевает оно в семиотическом поле.

Конечно, “Месяц в Дахау” не принадлежит какому-то одному жанру. Несмотря на то, что повествование начато в жанре дневника, путевых заметок, а общий абрис смахивает на антиутопию, вскоре заметки приобретают фрагментированный характер потока сознания и лирических отступлений, с последующей трансформацией в автоматическое письмо, микронарративно фиксирующее ужасающие страдания героя, последовательно перемещаемого из одной пыточной камеры в другую. Автоматизм озна-

чающего выполнен в перформативном ключе, т. е. невозможно себе представить, что эти записи появились постфактум, после событий, в качестве дневниковых записей *прошедших впечатлений*. Из ситуации письма мы прямо переходим в ситуацию события, сигнификация которого в каждый момент совпадает с его протеканием. Тем самым событие есть не что иное, как событие письма. Машинные мутации жанра восходят в конце концов к жанру камлания и завершаются драматургией ролевых высказываний. Оставляя пока в стороне другие особенности нарратива, можно отметить, что текст располагается в гетерогенном жанровом пространстве и в этом отношении представляет собой интенсивную множественность микронарративов и фрагментаций, удерживаемых в качестве целого личным местоимением “я”. Фигуративности я — *как тому, что претерпевает*, — принадлежат линейные континуальные структуры генерализаций, удерживающих гетерогенные фрагментации в едином горизонте. К ним относятся садо-мазохистская идеология повествования, контуры сюжета, тематизация и т. д.

Переход от дневникового (нормативного) повествования к сингулярному письму-событию формально обозначен неким декоративным чудовищем: клинообразной, пирамидальной цитатой “под Ленина”. Начиная с “КАМЕРЫ 1” и по пятнадцатую (там, где к лингвистическому телу предъявлены максимальные средства организованного насилия), текст полностью утрачивает синтаксис, но все еще оперирует фразовыми структурами. Это событие текста резко увеличивает скорость сигнификации. Интенсивность письма устраняет синтаксические — пунктуационные — задержки, переходя к означиванию неразрывных потоков психофизиологического страта.

“КАМЕРА 1: сразу милая когда в кресле как бы стоматологическом и клещи и ты моя прелесть со стеклом и внизу голенькая а меня привязывают кафеля много света и сначала по ногам бьешь со свистом до кровоподтеков а я плачу а потом клещи и ноготь на мизинце...”⁹⁶

Кажется, что с устранением синтаксиса исчезает и вся архаика цензурных ограничений. Письмо перетекает в сферу подпольных, “низких” тем изуверства: принудительный каннибализм, сексуальное насилие, осуществленное дрессированной овчаркой, технология пыточной задержки испражнения...

⁹⁶ Вл. Сорокин. Месяц в Дахау. — М., А. [Издание без нумерации страниц и года выпуска.]

И наконец агония тела в постоянно множасьихся процедурах испытания достигает границ антропологических возможностей чувственности. Боль как эксцесс телесного страдания прорывается в план сигнификации, и последняя превращается в эксцесс тела. Теперь уже разрушается грамматика и морфология письма:

“КАМЕРА 15: пробоитие и протрубо игло иглоделание христо христокожее богомясо трупобитие потрохомятие клац клацо клац етого прогное прогноевое трупокоже благородо трупокожее благородое напр клац клац клац”⁹⁷.

Интенсивная динамика дофразовых структур означает трансгрессию тела; семиотический коллапс настигает письмо там, где тело тонет среди белых копошасьихся червей в черной “благоухающей” жиже. И вместе с тем психоделия пыточных практик вызывает у претерпевающего я чувство ошеломляющего счастья: фашизоидная онтология насилия находит идеальную мазохистскую психологию рабского подчинения. Монументальное величие силы коррелирует со сладострастным страданием, соматический ужас — с исступленным желанием боли. Имя собственное страдает, полностью (но так же добровольно, как имя Иисуса) отдаваясь именам насилия. Там, где вербально распускаются великолепные фекальные цветы, удобряя и оскверняя последние символы святого словаря — *мать, родина, любовь, человек, достоинство*, — именно там перформация письма глумливо опрокидывает компетенцию. Не то, чтобы лингвистическая норма жаждет оставаться невидимой, а здесь она перестает быть предварающей сигнификацию, и это оказывается катастрофичным для письма как такового. Голос перверсивной крови, голос каловых масс и нормативное письмо оказываются взаимоисключающими субстанциями.

Низкие языки, инвективная лексика ближе к телу, к его героическому мазохизму, тогда как анально-генитальная картография пыток предопределяет основные семантические организации письма. В этом отношении можно было бы сказать, что семиотический коллапс есть событие предельно стигматизированного тела, но не менее истинно и обратное. В данном случае стигматизация прорывается также через измененный лингвистический код: “...и неожиданное падение в ров на несвежие трупы и трепет маргариты и трепет гретхен и нахтигаль и машингевер... и майн майн бецаубернде шатц майн либлинг майне майне майне либе майне царте

⁹⁷ Там же.

дойче блюме майне ма майне ихь ихь мёхьте дихь бис ауфgrund аусшюрфен”⁹⁸.

Тело научается (принуждается?⁹⁹) немецкому фонетическому письму, поскольку именно последнее и символически, и скатологически записывается на нем: “...и у нее сфинктер крестом и над лицом и крест кала на лицо крест кала на мое лицо”¹⁰⁰. Катастрофа письма в качестве катастрофы крестом перечеркнутого лица производит скрещивание лингвистических кодов, но, совмещённые в едином (алфавитном) сигнификативном потоке, они все еще различаются автономией планов выражения (морфологией). Но последующее крещендо насилия окончательно патологизирует письмо: оно претерпевает и испытывает морфологические мутации, образовавшие обобщенный клинический план выражения, на котором собирается биморфный языковой франкенштейн:

“...каловое валькирии лебервурстокало полеты валькирокаловополе-ты в рото в рото в рото кало ты ты иак иак иакало... официрохохо и в моегроботело испражгешайсен... протягиван протягиван протяги ван по прессованно лайхеногной сквозило скв сквозь трупогной реке-ношверкрафтотелое и обмывано облитие гноеструе...”¹⁰¹.

Шифтер “я” всё ещё присутствует в структуре письма, но грамматически определяется уже и средним родом (“я любило вас”); по отношению к этому шифтеру начинает проявляться объектная дистанция, устанавливающая ретроактивный грамматический локус контроля (“я *заставлялся* [выделено мной. — С.З.] тянуть из кала руку и нажимало абдюкен пистолето”). Разыдентификация *функции я* с грамматическим личным местоимением означает, что письмо окончательно остается один на один с собою, оно само определяет свою лингвистическую стратегию и сигнификативное становление. Письмо претерпевает в качестве семиотического тела, не нуждающегося в феноменальном или физикалистском образе тела для собственной референции. Приключения “героя” (или, точнее, идеологии героя) здесь являются исключительно приключениями письма. Энергия возведения в знак знаков пытаемого тела, т. е. производство “знака в квадрате”,

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Вопрос о принуждении здесь весьма спорен, поскольку русский писатель сам, “по велению сердца”, выбирает мир, в котором ему хорошо. Его ведет безоглядная страсть, и он добровольно отдается злу и насилию в своем рискованном путешествии.

¹⁰⁰ Там же.

¹⁰¹ Там же.

уже может не опираться на экзистенциальную или онтическую ситуацию. Сема наползает на сему, морфема — на морфему: мы имеем дело с полным семиотическим инцестом¹⁰².

Приемы инцестуозного письма можно обнаружить ещё в поэзии и прозе русского авангарда начала XX века, частично они проявились у *обэристов*; современное же постсоцреалистическое их проявление имеет менее локальный, но более специфический характер. Суть этой специфики — в достаточно жёсткой привязке письма к сигнифицированному телу, к телесным превращениям и претерпеваниям. Хотя доминанция знакового (литературного) поля над телесным, характерная для начала XX века, так или иначе имеет место и в современной литературной практике.

Так, например, сборник стихов Анны Альчук “Сов семь” создан под знаком именно такого рода семиотического инцеста. Полностью приведу стих III: “лиловолны/ (под нож) я скал льдов/ это скальдов оскалиры/ лавы креп/ крен мря”¹⁰³. В нём план выражения мультиплицирует означающие, близкородственная цепь которых сдвигается за счет лингвистической девиации. Письмо влюблено в письмо, графемы нарциссически дwoятся, но их повтор не абсолютен, поскольку откос неизбежен из-за внутреннего инцестуозного конфликта. Инцестуозное письмо рождает мутационный семиозис. Близкородственное слипается, связывается, сливается, взаимозаменяется и дегенеративно распадается, мультиплицируясь в гомологических остатках, фрагментациях, аллитеративных следах: “дож дож дя/ квозь длиинлинии/ листья/ шелистья/ листья шёл(к)/ плащ потерялся сиреновый/ в осенисотах”¹⁰⁴.

Характерно, что именно в таких “дисфункциях” инцестуозной машины письма проявляла себя архаическая пыточная практика становления писцом, в которой последовательные акты укрощения ненормированной плоти (поражения тела) оборачивались навыками механического графописания. Экстазис тела приобретал только одну точку трансгрессивного исхода — кончик пера, карандаша, *авто*-ручки. Идеальный писец — это писец, письмо-и-тело которого образует единый неразложимый атлас и становится *аутоматоном*.

¹⁰² Р. Якобсон обозначал эту семиотическую тенденцию в менее радикальном виде — как проекцию парадигматики на синтагматику.

¹⁰³ А. Альчук. Сов семь. М., 1994, с. 7.

¹⁰⁴ Там же, с. 12.

Сама себя движущая сигнификация — как только она, развивая сверхскорость, отрывается от референта и преодолевает грамматический “барьер” — становится обуянной аутоэротизмом. Письмо оказывается в центре “миметического желания” (Р. Жирар), желания, следующего модели Другого, — с той лишь существенной разницей, что этот Другой для означивания *есть само означивание*, сводящее воедино мимезис, семиозис и аллегорезис. Письмо — могущественный двойник тела — перестает петлять *через* тело, чтобы прийти к самому себе. Оно претерпевает становление своим собственным посредником. И как только оно овладевает миметическим желанием, модель Другого должна быть дезинтегрирована, поскольку последнюю письмо теперь имманентно — нарциссически — несёт в себе. Но дело как раз в том, что дезинтеграция своего Другого в структуре инцестуозного письма приводит к дезинтеграции его нормативно-грамматического каркаса: семиотические коды мутируют.

Семиотические машины изуверств Сорокина работают в режиме письма, параболический эксцесс которого конституирует телособытие, и всё то, что происходит с последним, происходит с языковым полем. Прогрессирующее стирание синтаксиса не оставляет телу возможности опереться на поддерживающую структуру, норму, анатомию (т. е. на сферу физикалистской объективности). Машины изуверств захватывают его нормативный атлас и переписывают в терминах извращения — как в порядках насилия, так и страдания. И даже некоторая обратимость состояний письма и тела (последним страницам “Месяца в Дахау” возвращен традиционный синтаксис) ещё раз подчёркивает семиотическую природу тела — то, что оно выдерживает в пыточном натиске, не могло бы выдержать физиологическое — соматическое — тело.

В заключительной части текста извращение (девиация) сдвигается в сферу “сознания” (каннибализация плана содержания): “...серебряный овал блюда с фаршированными ушами, пряная конвульсия белого соуса, солёный спазм сердечной мышцы... уши... запеченные с мозгами своих бывших хозяев... накорми, накорми меня Заливной Грудью Голландки, нежнейшей Ветчиной Французенки...” и т. д. Возможно, это и есть выражение самого максимального эффекта, который был произведён множественными претерпеваниями письма-тела: поражение нормативности сознания, растворение тех табу, которые удерживали его в определенном культурно-идеологическом страте. Но амбивалентность смысла сорокинского концентрационно-лингви-

стического лагеря заключена как раз в том, что возможно двойственное прочтение идеологий письма: или тело (заведомо “нормальное”), проходя через лабиринты насилия, необратимо утрачивает нравственный императив и становится патологическим, ненормальным, или же процедуры испытания, предъявленные телу, только высвобождают из-под обломков формальных “правил поведения” истинную натуру человека — натуру извращенца. Вследствие этого отнюдь не случайна патологизация морфологии и произвольное выпадение пунктуации в финальных строках:

“Я: собственно если говорить о голубоватом конце края и желированном то я предпочел бы следующую последовательность:

1. наполне моего желудка червие обглодавшее голову гретхен.
2. пришив голова маргарит к мой левое плеч.
3. ампутир мой конечност переработ в клеевое клеит обои в.
4. напознит мой прямокишечно глаза немецкорусски дети.
5. ампутиро мой члн переработо в гуталино подаро цк.
6. нашпиговано мой тело золото зубо еврее.
7. выстреле мой тело большая берта в неб велик германия”.

Строго говоря, теперь мы не можем осуществить актуальных разграничений письма и тела, тела и сознания, письма и сознания, ибо эти дифференциации полностью покрываются внутренней структурой письма — планом выражения и планом содержания. Во всяком случае сам *принцип разграничения* следует из этой структуры, произведен от нее. Он всегда лишь будущая проекция структуры письма, и в этом отношении виртуален, но не актуален. Таким образом, тело и сознание — это вторично объективированные интерпретации письма, его референции в реальное, обеспечивающие и гарантирующие саму реальность через её знаковую стигматизацию.

Именно поэтому в своём актуальном поле письмо не требует верификации или удостоверения на адекватность: просто в его структуре отсутствует *принцип истинности*. А это, в свою очередь, означает, что идеология идеальной объективности с ее истинностным апофеозом полностью принадлежит эпифеноменальному миру, и именно последний — в качестве двойника-артефакта письма — постоянно требует самоудоверения, устраивает пристрастные проверки и следственные эксперименты, ищет ошибки и организует разнообразные практики дознания тела — от анкеты и социологического опросника до пыток и лагерной машинерии. Эпифеноменальный мир — мир объективной действительности — пытается высвободиться в присутствии, он неустанно фабрикует собственное наличие, но эта

грандиозная фабрикация не может отказаться или уклониться от лингвистической легитимации (под эгидой грамматики настоящего времени), определяя себя: “Вещь *есть* то-то и то-то... человек — *это*... мир *есть*...” Но ещё до того, как нечто заявляет о своем существовании, наличии, присутствии, уже есть язык, на котором это заявление осуществляется. Мир человеческой реальности существует, т. е. *сущестует*. И его *существенность* осуществляется не иначе, как через репрезентацию, позволяющую конституировать человеческое (слишком человеческое) как таковое посредством поля означаемого, содержания, семантики. Такова участь-формула человека — создавать себя посредством семиотизации, задавать себя и свою сущность через социокультурный код, обнаруживать себя режимами коммуникации, трансляции и трансмутации¹⁰⁵. Механизмы знаковой проекции онтологичны по отношению к онтической позиции субъекта, и это *означает* только одно: бессмысленно говорить о теле до языка или вне его, тело как данность есть тело означенное.

Перипетии “Месяца в Дахау” завершаются церемонией бракосочетания. Кажется, что множественные испытания тела только предваряют её в качестве пробы, экзамена-инициации или процедуры посвящения. И тактика пыток заключалась в том, чтобы посредством лингвистических рассечений через тело, через его органы-отверстия, глубокие и поверхностные надрезы, иссечения, сдавливания, скручивания и растяжения, соматические редукции проникнуть к душе, а скорее, к духу, к *мана* — энергетической (символической, и тем самым — семиотической) жизненной силе Я. Тот, кто контролирует *семиотическое мана*, контролирует человеческое тело. Так анально-садистическая лингвистика насилия (невеста-палач) организует катастрофу письма, обнажая механизмы нормативной сборки тела и приводя его к всеобщей дезорганизации на полюсе жениха-жертвы-полутрупа.

По-видимому, семиозис, производящий тело-текст, нуждается в таких периодических катастрофах письма, чтобы в очередной раз стряхнуть с себя архаические машины объективизации и сборки реальности, чтобы отбросить абсолютные претензии симулякра и его объекта на нормативность или окончательные — неотменяемые, известующие — правила для структуризации телесного письма.

¹⁰⁵ См.: Петров М. К. Язык, знак, культура. М., Наука, 1991, сс. 35-46.

В свое время Мартин Хайдеггер призывал нас молчать и слушать, с тем, чтобы язык (голос бытия) всё сказал сам. В этом есть свой резон, но только при условии, что “молчать и слушать” не означало бы фактора “человеческой коммуникации”, так как именно с последней вступает в силу формация власти, то есть кристаллизация власти в лингвистическом поле. *Молчать и слушать* здесь должно бы означать *претерпевать становление животным*; молчать, как молчит животное: вне знаковой артикуляции; слушать, как слушает животное: не смысл, а *материю интенсивности*, ткань голоса.

Именно таков по своему характеру *звёздный язык гнездящихся богов* Хлебникова в сверхповести “Зангези”: он — не дискурс и не наррация, он — вне жанров. Если даже предположить, что это простой автоматизм означающего¹⁰⁶ (что подразумевает, кстати, наличие некой машины письма), то всеобщая фигуративность этого означающего тут же приходит в виде следствия, пыточного дознания на адекватность применяемой концепции. Другими словами, традиционное применение аналитического усилия к тексту Хлебникова инфицирует (скрыто фарширует) последний предустановленными терминами, которые там находятся аналитиком, якобы бытующими сами по себе в качестве инструментальной данности, материала и не относящимися к языкам власти.

Конечно, речь не идёт о том, чтобы подвергнуть остракизму любые системные способы означивающей грамматизации. Можно прочитать Чангару Зангези как мечту гомосексуала (см. каков он в восприятии *1, 2 и 3-го прохожих*), можно как Заратустру, можно как Алису Кэрролла... Хотя он в любом случае остаётся языкоблудом, т. е. любовником языка, Азбуки мирового языка, и потому — обладает приоритетом собственного — сингулярного —

¹⁰⁶ “Автоматизмы означающего производят особого рода означаемое по схеме, которую можно было бы назвать схемой обратной фигуративности. Такое название оправдано тем, что движение фигуры не образует замкнутой линии или круга выражения, выражаемого, выраженного, как в обычных платонически-аристотелевских фигурах речи, крепящих собою круг обмена выражения, выражаемого и выраженного. Автоматизмы означающего производят означаемое лишь в одну сторону, не крепя комплекс, а раскрепощая всякие устойчивые сцепления внутри него, создавая одномоментные выплески или выкрики, стынувшие на какое-то мгновение в пространстве, остужающие пространство.” (Примеч. С. Долгопольского.)

словарно-азбучного толкования огласовок. Он — орган речи языка. Мы же вынуждены дифференцировать потоки означающих, как только мы пытаемся дать им имя: Хлебников, Зангези, Зангези как Заратустра и т. д. Но “вне жанров” — это в первую очередь устранение действующего лица, имени, и, конечно, не самих особенностей сигнификативной грамматики, а попыток придания легитимации этим особенностям в качестве и на основе всеобщих категоризаций, т. е. попыток стабилизировать форму нормативным путём — суммой установленных предписаний.

Говоря об аналитическом усилии и проблемах предустановленной инкорпорации экстралингвистических машин, я просто хотел подчеркнуть, что сама материя языка — чмок, гул, шип и посвист — с необходимостью превышает как системы записи, так и стратегии прочтения. И в случае “Зангези” это особенно ясно. Более того, отталкиваясь от сигнификативных цепей речепорождения, Хлебников хотел бы превратить семиозис (в качестве производства) в прямую морфологию сингулярных тел.

Я имею в виду то, что мы назвали “слушать ткань голоса”, и через этот способ животного слушания — визуализировать голос, дать ему вид звуковой материи. Хлебниковские визуализации речи (*песни звукописи*) сродни чукотским речевым каталогизациям природных тел; причём они — ретроактивны, т. е. идут от именованья к телам, а не наоборот:

Чучу биза — блеск божбы.

Мивеаа — небеса.

Мипиопи — блеск очей.

Вээава — зелень толн!

Миомаа — синь гусаров,

Зио зезя — почерк солнц¹⁰⁷.

Заменяя *живо-* на *звуко-*, Хлебников проблематизирует классическое декартово пространство, точно так же, как это делает и простой чукотский песнопевец, дающий имена недифференцированной прежде среде обитания, осуществляя таким образом звукоположение и звуковозведение в вещь, в ландшафт. Здесь территориализация пространства осуществляется силой звука, а не телами (т. е. функцией, а не протяжённостью, что, с точки зрения Декарта, невозможно).

Конечно, жанровый литературный интерес не может миновать все нормативы выражения и их следствия. Но в потоке сигнифи-

¹⁰⁷ Велимир Хлебников. Творения. М., Советский писатель, 1987, с. 489.

кативных становлений, преодолевая *знаковый* характер сигнификации, Хлебников претерпевает становление птицей (животным), т. е. переходит, соответственно, к сугубо *сигнальному* “означиванию” аффекта. Выход на уровень *сигнального* маркируется границей-пределом пристёжки означаемого к означающему, после которой мы не обнаруживаем знаковой полноты, ее содержательной стороны: репрезентация сменяется презентацией. Эта утрата означаемого особенно наглядно и продемонстрирована в сверхповести “Зангези”. Текст как таковой, демонстрируя план выражения, здесь не может в своих существенных частях обнаружить план содержания (несмотря на такие титанические усилия Хлебникова, как введение внутреннего словаря к рядам огласовок и повоплений, установление обобщающей сюжетной линии, манифестирование тематизации проблемы языка и слова, фонематический прикид).

Фонация и аффективный резонанс возникают в узлах психофизиологического возбуждения звуковой волны; телесная индукция (животный, витальный импульс) начинает превышать сигнификативную гомологию сознания; прорывая поверхность письма (текста), она нагромождает сигнальные торосы, оставляет фонетические метки своего пребывания, не обращая ни к смыслу, ни к значению, не отсылая ни к референту, ни к образу. В качестве чистой интенсивности и неопределённости, эта индуктивность непрерывно меняет среду обитания. И когда она обнаруживает себя *текстуально*, то именно в этом *месте* текст не обнаруживает себя. Знак кастрирован. Текст выхолощен. В данной стратегии Хлебников парадоксально реализует свой излюбленный принцип доместикации: человек (в качестве устроителя дома языка) одомашнивается дикой птицей (в качестве истинного телесного начала языка, “спящего бога речи”). И звукофонемы “[о]кутаны вещей грустью, / Летят к доразумному устью...”¹⁰⁸.

Хлебников — типичный креатор симптомов, *если мы опустимся до того, чтобы просто понимать его*. Он так устраивает текст, что последний производит посредством лепета (*Aba-erlebnis*) клинический (в психоаналитическом смысле) эффект. Здесь знак указывает не на знак, а на некое пространство патологии нормативных, грамматических принципов, и тем самым — на кристаллизацию власти в лингвистическом поле. Процедура собирания тел полностью принадлежит фонемам, но они, в свою очередь, зависят от устройства речевого органа, — так что же

¹⁰⁸ Там же, с. 486.

полагается в качестве начала, или изначального? Если это не символическое и не воображаемое, то это — *реальное*. *Бе-бе* и *биба-буль* — это ненормированное бытие желания, т. е. его бытие в *реальном* разряде. Патология тождественна реальности желания, и *редэдиди дидиди* есть фонематическое указание этого.

Фигуративность тел, известная в качестве суммы симптомов, теперь уже возможна в качестве суммы фонем, но именно по этой причине эта фигуративность становится сингулярной. Как только мы предали их огласовке, мы претерпели становление птицей, животным или колоколом, не задействуя смыслов или образов, нормативно соотнесённых с их именами. Речевой орган как творец уступает место **становлению** без начала, без *itago* и эмпатии. Уже нет никакого уподобления, так как само подобие отсутствует, более того, отсутствует сам всеобщий принцип подобия — референция.

Я бы осмелился сказать радикальнее: именно так строится *сингулярное тело языка* высказывания. Несколько сомнительно здесь звучит термин “высказывание”, может быть, потому, что он избыточен. Высказывание, в его нормативной агрессии, принадлежит другому коду, оно не может вытерпеть неуёмное хаотическое шевеление фонем, их постоянную возню, вибрацию и скачки. Высказывание, вместе с его грамматическими границами, — всегда каркас, анатомический скелет со всеми признаками вида, рода и даже пола речевой фигуры. Тогда как сингулярное тело языка — экстерриториально и как таковое нейтрально. Тело языка — без костей. Совершенно прав был Аристотель, пронизательно-феноменологически отмечая: “Ведь границы принадлежат только тому, чьими границами они являются, а число лошадей — скажем, десять — может относиться и к другим предметам” (*Физика*. Книга 4, глава 11).

ТЕЛА ШПИОНАЖА

Превращённые формы являются восполняющими и замещающими формами, и в этом смысле система связей может быть представлена как система уровней преобразования и замещения... Иными словами, превращённые формы регулируют систему путём восполнения отсечённых её звеньев и опосредований, замещая их новым отношением, которое и обеспечивает “жизнь” системы.

М. Мамардашвили

Пол отсекается — его замещает шпион. Система продолжает жить. «Она» пленила двор Екатерины II прекрасными манерами, живым умом, женской пластичностью и безупречным вкусом. За ней волочился шлейф ухажёров, но она, как кажется, была стойкой и неумолимой. Какой-то князь, не найдя взаимности и истрадавшись по её пухлым формам, уже был готов покончить с собой. Кто-то спился от любовной тоски, кто-то и вовсе потерял голову. Да и самой Екатерине пришлось по нраву экстравагантная француженка, особенно же доставляли удовольствие совместные прогулки и долгие беседы-дискуссии по самым различным темам, не исключая и политическую. Но вот дело, по видимому, зашло уж слишком далеко... В своём будуаре императрица, оправляя туалет, обнажила грудь, что-то попросила помочь

французскую фаворитку и подметила-таки, как вдруг зарумянились её щеки, как дрогнули руки. Уступая натиску российской самодержицы, в отчаянии опустившись на колени, француженка в конце концов признаётся в своём... мужском поле.»

Шевалье д'Эон (d'Eon), шпион Людовика XV, был великодушно прощён, настолько Екатерина была поражена его даром перевоплощения, его умением быть женщиной, репрезентировать собой квазипредметность, т. е. превращённую форму как таковую.

В какой мере становление женщиной связано или определено становлением шпионом? И причём здесь женщина? Не потому ли, что она вне подозрения? Находясь в поле зрения, она (= он) остаётся вне (подо-) зрения. Но что тогда находится в поле зрения, чем оно преломляется, отводится; что превращает, а может быть, напрямую подменяет, или *замещает*, исходную форму? (Не будем забывать, что за фигуративностью женщины скрывается мужчина.) Что гарантирует замещение замещённому, если при том эта пара остаётся взаимоскреплённой? Не остаётся ли различие здесь незатронутым, как и сами фигуративные модальности? Или же, напротив, здесь мы имеем именно то поле зрения, в котором господствует достижение абсолютного тождества, не позволяющее примыслить ещё некую сущность, не совпадающую с этой самождественностью? Не является ли женщина тем самым себя-показывающим феноменом, о котором философствовал молодой Мартин Хайдеггер?

Из этого же ряда секс-стриптиз Мата Хари: полная открытость тела (в качестве предельного аргумента самождественности). Все тайны феноменально обнажены, открыты, чтобы скрыть привилегированную, абсолютную тайну: кого хотят поймать на этот голый крючок?

Итак, квазипредметность как результат структуры превращений и одновременно следствие того, что исходное отношение не может осуществляться в своём действительном виде. Шпион реализует свою действительность через инаковость, через превращение, позволяющее скрыться исходному за максимальной открытостью своего иного. "Его посредствующие звенья и зависимости замазаны действием других связей, которые выталкивают его, как нечто оголённое (до его восполнения), самодовлеющее, как предмет-фантом"¹⁰⁹.

¹⁰⁹ М. Мамардашвили. Превращённые формы (О необходимости иррациональных выражений). — В кн.: Как я понимаю философию. М., Прогресс, 1990, с. 321.

Но если это так, то в обратном отношении именно не вызывающее подозрения должно быть под особым подозрением. Этот силлогизм совершенно очевиден для контрстратегий шпионажа. Дезавуация данной очевидности возможна лишь на пути наложения подозрения на подозрение: он подозревает меня, тогда я буду нарочно вести себя так, чтобы на каждом шагу подтверждать это подозрение; именно избыточность подтверждения подозрения разрушает само подозрение. В рамках подобной логики разыгрывается огромное количество сюжетов превращений, сокрытия, тайн. У Беккета нищий, чтобы дезавуировать свою крайнюю нищету, старательно инсценирует роль нищего. У Бальзака ревнивец, скрывая свою болезненную манию, играет роль легковесного ревнивца. Садист, соответственно, театрализуется в себе садиста. Здесь акцент, скрывающий действительное отношение, делается на чрезмерной демонстративности этой действительности, на театрализации исходного с целью его сокрытия. Демонстративная действительность сомнительна. Тайна несомненна. В игре этих бинарных топологий принцип удвоения смешивает ориентиры. Клин вышибают клином.

Но наш случай, кажется, не таков. Подмена мужчины женщиной в большей степени может стать игрой на различии социальных статусов, за спиной у которых половые маркеры “выпуклости” и “впуклости” (М. Мамардашвили) меняются местами. И то, что “отсекается”, не исчезает, продолжает жить под покровом тайны. Тела шпионажа андрогинны, складчаты, фантомны. Говоря семиотически, они сами в себе *со-референтны* и потому визуально не обнаруживаемы. По всеобщему закону конспирации, шпион сперва создаёт, а затем живёт в со-референтном пространстве, геометрия которого гасит подозрение. Шпион — это превращённая форма, реальное существование которой вне исходных связей является основным признаком агентурной профессии.

Что же делать профессионалу, если поле его деятельности уже структурировано до начала самой деятельности? В интервью “Жизнь шпиона”, данном Анн Шевалье в августе 1990 года¹¹⁰, Мераб Мамардашвили размышляет над этим вопросом как наиболее фундаментальным для его собственного статуса философа.

“...В чём же в самом деле зиждется компетенция и профессионализм? [При условиях предзаданности поля деятельности.] Устраняется структурность поля, и оно становится *нейтральным* и представляет равные для всех возможности, чтобы люди смогли

¹¹⁰ М. Мамардашвили. Жизнь шпиона. Интервью Анн Шевалье от 20 августа 1990 г. Тбилиси, Искусство кино, 1991, N 5, сс. 31-39.

сориентироваться, осмыслив суть предстоящей работы, а не в зависимости от чего-то *внешнего по отношению к этой сути* [курсив мой. — С. 3]¹¹¹.

О каком *устранении* говорит Мамардашвили? Конечно, необходимость устранения очевидна, так как его результатом оказывается нейтральность поля деятельности в качестве предпосылки профессионализма. Но что за устранение здесь имеется в виду?

В данном случае ход рассуждений Мамардашвили образует инверсионную форму по отношению к его же анализу превращённой формы. Исходным отношением, с которым сталкивается метафизик, оказывается не замещающее, а замещаемое. *Замещаемое* (предзаданная структурность поля деятельности; мужской пол) дано как действительное (реальное) отношение, а *замещающее* (нейтральное поле; женский пол) — как квазисубстанциональное, мнимое, но вполне объективное отношение. Тогда как в случае с превращённой формой мы изначально сталкиваемся с “представительствующим”, “мнимым образованием”, за спиной которого в результате анализа обнаруживаются реальные, но опущенные (устранённые) связи.

В этом концептуально разнонаправленном ходе мысли философа при желании можно было бы увидеть простое логическое противоречие. Но дело как раз в том, чтобы понять удивительно глубоко продуманный и последовательный подход, ключом к пониманию которого оказывается топология философского взгляда, метафизические координаты мамардашвилиевского глаза в рамках логического рефлексивного кольца. Он находится прямо в точке оппозиционного разветвления, так, что движение влево или вправо носит, безусловно, противоположный характер, имеет взаимоисключающую фигуративность. Но принадлежность оппозиций к замкнутому целому образует их необходимый взаимопереход. Цикл концептуального движения в любую оппозиционную сторону пробегает круг и возвращается к одному и тому же — к точке связи оппозиций, к точке, в которой вся система различий приобретает *со-референтный* характер. Таким образом, *принцип устранения*, по Мамардашвили, осуществляется как процедура освобождения от внешних сил структуризации поля деятельности посредством замыкания этого поля в самореферентную систему, т. е. систему, которая находит критерии собственной адекватности, предметного соотнесения и смыслополагания внутри самой себя. И поле профессиональной деятельности приобретает, стало быть, по отношению к другим

¹¹¹ Там же, с. 38.

полям (власти, корпоративного интереса, языка и т.д.) нейтральность.

Следовательно, по Мамардашвили, быть шпионом — вовсе не означает принадлежности к оппозиции подозрительное/неподозрительное; превращённые тела шпионажа собираются как нейтральные, но постоянно пребывающие “во внутренней эмиграции”. Быть профессионалом, быть женщиной, быть философом — все эти бытийствования-становления исходят из одной общей формулы — быть шпионом: “Я грузин и философ, с юности я нахожусь во внутренней эмиграции. Я хорошо понимаю, что такое быть шпионом”¹¹². А вот что говорит Мамардашвили в “Картезианских размышлениях” о Р. Декарте, который, по его мнению, как никто воплощал собой существо философа:

«На мой взгляд, это самый таинственный философ Нового времени или даже вообще всей истории философии. Он — тайна при полном свете... Сама непонятность Декарта соответствует тому, что он в себе очень рано понял и чего придерживался всю жизнь, а именно: в его дневнике можно встретить такую латинскую фразу, которой он следовал, как девизу: “Выступаю в маске...” Да Декарт и жил так. Среди его записей, в другом месте, мы можем прочитать, что хорошо прожил тот, кто хорошо скрывался»¹¹³.

Итак, становление шпионом в случае кавалера д'Эона коррелирует с инверсией пола, становлением женщиной. Мамардашвили вводит в эту корреляцию ещё одно становление — становление философом. И причиной тому в наше время — глобальный процесс регрессии, свершившейся на одной шестой части суши. Регрессии, понимаемой в фрейдовском смысле как “возвращение к детству”. Более того, к доперинатальному состоянию. И здесь мы обнаруживаем некий взаимообмен между двумя корреляциями, сформулированными выше. У Мамардашвили женское начало и отношение к нему определяют последующее становление. Женское начало имеет статус неограниченного поля возможного, поля, в котором нейтральность оказывается продуктивностью высшего порядка. На её основе возможна любая сборка тела (телесного канона или имаго), не исключая и монструозного. «Может быть, у нас у всех как раз разные (и *многие*) тела, в том смысле, что они все по-разному составлены из таких вот устойчивых “беглайдиген [*begleidigen* — фрейдовский пример языкового монстра — невозможного слова — в “Психопатологии обы-

¹¹² Там же, с. 38.

¹¹³ М. Мамардашвили. Картезианские размышления. М., Прогресс; Культура, 1993, сс. 8-9.

денной жизни”. — С.З.] и соответствуют разным уровням жизни сознания (или, если угодно, разным 'мирам')»¹¹⁴. *Множественные тела индивида* как результат семиозиса “невозможного”, сборка посредством самореферентных кодификаций и атласов — вот перспектива нетрансцендентально организованных полей порождения. В противном же случае — регрессия,

“эмбриональное состояние — выбор, к которому склонялась вся традиционная русская культура, хотя в начале XX века было и многое другое. Указанная тенденция была далеко не единственной, но имело место тяготение к выбору эмбрионального состояния, состояния уюта и защищённости в теплой обволакивающей внутриутробной среде... В своих отношениях с государством советский гражданин подобен эмбриону. И он хочет, чтобы его, как зародыш, обволакивала матка”¹¹⁵.

Именно такая топология внутреннего и внешнего, при полной поглощённости внутреннего внешним, порождает феномен “вагинального зрения”, посредством которого внутреннее визуализует внешнее. Внешнее (трансцендентальное) представляется *вагинальному глазу* всеохватывающим, тотальным, абсолютным. Эмбрионально-маточная ойкумена населена платоновскими идолами пещеры, а в метафизически наиболее разработанном виде представлена непреодолимой кантианской дихотомией феномена и ноумена. Основным способом репрезентации эмбрионального сознания становится фантазмирование и символический обмен между внутренним и внешним. Эта ойкумена живёт от катастрофы к катастрофе, её историческая память складывается из родовых разрывов (революции внутреннего) и мнемотехник аборта (террора внешнего), т. е. из непосредственной записи на теле. Записи с *физиологическим* сцеплением силлогизмов и *органической* аргументацией. Язык этой записи структурирован как тело, а тело, в обратном отношении, структурировано как язык. Такую взаимосвязь Мамардашвили и называет *сборкой begleidigen*. Он чувствует, что в этой культуре тело функционально, а язык субстанционален. Тело — это эксцесс языка. Визуальное здесь возможно, по преимуществу, как вербальное, т. е. оппозиция между “видеть” и “говорить” — предельно заострённая в новоевропейской культуре — в нашем случае имеет “невозможную” топологию эшеровского типа.

¹¹⁴ М. К. Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, Мецниереба, 1984, с. 34.

¹¹⁵ Жизнь шпиона. С. 34.

Конечно, Мераб Мамардашвили не был внешним наблюдателем российской (советской) культуры. Его позиция не могла сводиться к позиции геополитика в картине С. Дали “Геополитик, наблюдающий рождение нового человека”. Ему ведомо чувство внутриматочной плотности и коммунальной доминации “*сопрущербдашь*” (*begleidigen* — сборка от *begleiten* и *leidigen*: сопровождать и наносить ущерб). Но, не будучи до конца ни внешней, ни внутренней, его метафизическая топология располагается на линии складки, совмещения внутреннего и внешнего, т. е. занимает место речевого глаза, с его полным комплексом внутренней эмиграции — особой возможностью “видеть самоё себя”. Именно отсюда берёт начало неповторимый вербально-визуальный стиль его философствования. Речевой глаз как “иероглиф тела”, как “чувство-теоретик” совмещает одновременно рефлексию сознания и физиологический рефлекс (умозрение и зрение), т. е. функционирует по тому же принципу, что и “пятка человеческой ноги” (как часть органа опоры и в то же время — зона “реализации полового желания”) в примере, приведённом Мамардашвили¹¹⁶. “Внутренняя эмиграция” позволяет ему осуществить свою самореферентность — такую нейтральность поля деятельности, которая обеспечивает профессиональное философское становление, превращая, между тем, фигуру философа в симулякр (*simulacrum*), объект-призрак, каковым он воспринимается с трансцендентальной точки зрения геополитика-наблюдателя (который, безусловно, объективирует любую точку наблюдаемого пространства посредством своего абсолютного диалектического разума), а также и с точки зрения имманентного солипсиста, фантазирующего в рамках обособленной, внутренне данной чувственности. Траектория философского становления Мамардашвили принципиально трансверсальна взаимно оппозиционным линиям Э. Ильенкова и Д. Дубровского. **Мамардашвили — философ объективной иллюзии с её же собственной позиции, философ “*das Unding*” — невозможной вещи, или, как он сам говорил, “третьих вещей”, “тел понимания”.** Он занимался конституированием и топографией *онтологического пространства мысли*, не прибегая к “описаниям извне или изнутри”, — пространства, отличного от классического “декартовского” и “могущего тем самым послу-

¹¹⁶ См. цит.: Классический и неклассический идеалы рациональности. С. 34.

жить *лоном* [курсив мой. — С. 3.] отработки... форм... знания и описания”¹¹⁷.

Нет никаких “третьих вещей”, не существует никакой тайны сдвоенных полов, не могут быть тождественными стратегии шпиона, женщины и философа(-по-судьбе), если... Если не умножать сущности сверх необходимости. Если придерживаться классической чистоты и ясности анализа, аргументации, условий описания феномена. Если мировое целое — это книга, которую надо только научиться читать по всем известным и строгим правилам грамматики. “Другая реальность” — обычный плод недобросовестного (безответственного) и к тому же тёмного (неграмотного, = *неограмматизированного*) ума.

Или мы всё-таки говорим о том, что уже по своему неясному и неопределённому характеру требует и иных средств мышления? Как нам помыслить отклонение, не становясь на точку зрения репрессивной нормы? Как нам прочитать книгу, которая была написана до всякой грамматики? Как схватить множественное, несводимое к целому, где целое остаётся лишь одним из фрагментов нецентрированного множества? Как нам помыслить “становление маленькой и одновременно большой” Алисы Л. Кэрролла?

«...Даже просто вводя такие ещё неясные вопросы и допущения, даже просто гипотезу существования подобных сложностей в сознании (ставящих под вопрос классическое различие между “душой” и “телом”, “внешним” и “внутренним”, “сознанием” и “материей”, “живым” и “неживым” и т. п.), мы уже начинаем приподнимать завесу над тем, что перед нами, исследователями... экранировано, и через экран чего мы, по правилам классической процедуры рационального анализа, не могли бы пройти»¹¹⁸.

Транссексуальная практика кавалера д’Эона и становление философом коренятся в общей стратегии шпионажа, стратегии производства фантомных, а-референтных тел. Поскольку статус иллюзии всегда проблематичен с точки зрения категории существования, она как бы стоит перед постоянной задачей особым образом удерживать себя в присутствии, в наличии. Действительно, тела шпионажа уже по своему определению должны иметь непредставимый, нерепрезентативный характер, в противном случае они саморазоблачаются, декодируются, т. е. раскрываются именно в том модусе, который должен быть скрытым, конспирированным. И в то же время они должны быть в нали-

¹¹⁷ М. Мамардашвили. Превращённые формы... С. 328.

¹¹⁸ М. К. Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы... Сс. 34-35.

чи. Разрешение этого противоречия происходит на пути создания особых (“невозможных”) топологических фигуративностей, удерживающих иллюзорные тела в границах присутствия, оставляя, между тем, их нерепрезентативность незатронутой. “Невозможная вещь” становится возможной в процедурах удвоения. Она “существует” в зазоре, в *промежности*, между сдвоенными гетерогенными объектами. Фантомные тела вводят в пространство социального зрения такие силы возмущения, которые стягивают плоские, гладкие поверхности в складки. Преобразуя поверхность в глубину, они создают подповерхностные (или надповерхностные, если поверхность преобразуется в высоту) ниши, удерживающие в своём измерении то, что не имеет собственного измерения. Так образуется социальный ландшафт, в сдвоенных складках которого “существуют” тела шпионажа, тела понимания. И то, что теперь их “репрезентирует”, не является их собственной репрезентацией и приобретает статус превращённой формы. Это как два зеркала, поставленных друг перед другом. Фантомное тело находится между этими зеркалами, но не отражается в них. А то, что отражается, не репрезентирует самого фантомного тела. И тем не менее оно существует в качестве удерживающего две зеркальные плоскости и своим наличием не позволяет слепиться этим плоскостям в одну или раскрыться, как книга, в одном горизонтальном измерении. Если расправить, разгладить все складки, то в таком однородно-линейном социальном пространстве “невозможные тела” исчезнут, хотя вполне вероятно, что тогда исчезнет и само социальное пространство.

Существенно то, что это зеркальное (социальное) взаимоотражение имеет *асимметричный* характер — в отличие, скажем, от симметричного отражения в карточных фигурах; именно асимметрия является знаком сил возмущения социального поля и указанием на то, что здесь присутствует фантомное тело, тело понимания. Мамардашвили в “Картезианских размышлениях” так характеризует *асимметричную тавтологию* мысли: “...онтологическое уравнение мысли можно перевернуть и выявить в нём *другое, не сразу заметное, содержание*... [выделено мной. — С. 3.]”¹¹⁹.

Шпион д’Эон — не просто какой-то конкретный мужчина, а та сила, которая сделала его женщиной, которая свела эти бинарные половые топосы в складку, сдвоила их и тем самым в их асимметрии обрела своё собственное существование. В данном случае эта сила принуждена в первую очередь “шпионить за собственным телом”. Шпион — это превращённая форма в той сте-

¹¹⁹ М. Мамардашвили. Картезианские размышления С 81

пени, в какой она репрезентирует а-репрезентативное. Другими словами, исходно-реальное отношение, вытесняясь с поверхности социального пространства, замещается превращённой формой, не имеющей никакого прямого отношения к этому исходному. Сущности удваиваются, умножаются без отношений непосредственного перехода и в то же время без абсолютного совпадения, без того, чтобы одно полностью покрывало другое, асимметрично. Вот этот зазор между исходным (замещаемым) и превращённым (замещающим) и есть топос “невозможного тела”, топос существования шпиона. Тела шпионажа конституируются двойным (двусторонним) экраном, посредством отсечения, двойной инвагинации и замещения отношений социального поля.

Эти процедуры позволяют создать внутри складки, в зазоре нейтральное самореферентное поле, поддерживающее равновесный баланс между внутренним и внешним, противостоящее любым попыткам доминанции одной из оппозиционных сторон. Мамардашвили называет это “находиться во внутренней эмиграции”, не теряя связи с внешним. И дополняет: “Надо оставаться незаметным, не теряя свободы”¹²⁰.

Так почему же Мата Хари, шпионка и стриптиз-танцовщица, нарушает “незаметность” как принцип конспирации, отдавая приоритет демонстративной заметности? Ответ лежит *на поверхности*: потому что она была женщиной. Потому что архитектоника “бытия женщиной” (как, впрочем, и философа) вырастает из стратегий шпионажа как своих базисных условий. Суперагент демонстрирует “тайны” женского тела, последовательно обнажая весь сигнификативный атлас, конституированный мужским желанием. Процедурам обнажения соответствуют процедуры прочтения, которыми заняты визионеры (и здесь мы опять обнаруживаем квазиорган — *речевой глаз*). Женское тело репрезентирует нерепрезентируемое, т. е. за сексуальными кодификациями обнажённого тела скрывает криптограмму, шифр: между родовым существом и сексуальным объектом (каким женщину делает социальная стратификация) находит себя тело шпионажа. В социально-либидозном отношении женщина — всегда складка, всегда квазипредметность. Как женщина, Мата Хари делегирует задачу шпионажа за её сексуально картографированным телом визионеру, который получает удовольствие от декодирования вожделенных “женских тайн”. Так возникает тугой узел, который незаметно для себя и собой затягивает визионер: ведь за “раскрытием”, “срыванием покрыва” с “женских тайн” обнаружи-

¹²⁰ Жизнь шпиона. С. 39.

вается только одна их разгадка — желание мужчины. Женские тайны скрывают мужское вожеление, и как только первые раскрываются, мужские фантазии *попадают в свои собственные объятия*, замыкаясь в кольцо аутоэротизма. И с этого момента женщина-шпион становится *незаметной и свободной* для осуществления собственных стратегий.

Итак, женское тело сигнифицировано мужскими фантазиями. Оно — язык мужских желаний, эксцесс этого языка. Язык говорит посредством трансгрессии тела, и наоборот. Язык собирает тело в качестве анатомии (т. е. *биограмматикки*), или в качестве сексуального ландшафта, или как производственное (орудийное), или эстетическое. В любом случае язык и тело взаимофигуративны и взаимоинфраструктурны. Это означает, что вне поля языка (поля значений) невозможно представить себе какое-то “естественное существование” тела. Тело существует ни “до”, ни “после” языка. И язык, и тело обретают статус существования посредством одновременного акта *асимметричного взаимоудвоения*.

Сигнификативный атлас женского тела и зоны его интенсивности образуются системами записи (*графии*) желания, т. е. желание необходимо должно быть удвоено знаками, именовани-ем, вне которого оно не может быть ни предъявленным, ни прочитанным. “Иероглифы тела” являются залогом его существования, а следовательно, познания, обладания, “перезаписи” и “мышления вслух”. Другое дело, какие силы создают правила телесного письма (или речи), по какому канону и в какой семиотике оно осуществляется. Для Мамардашвили важно было то, чтобы этот канон не диктовался внешней репрессивной стратегией власти. Чтобы *графия* желания не превращалась в *порнографию*. Хотя маскулинистская доминация в организации речевого глаза уже как бы предполагает насильственное визуально-вербальное граффити объекта желания. “Желать видеть” означает здесь “видеть желание”, т. е. видеть то, что удвоено знаками, помечено телесными маркерами по правилам письма (или речи, если говорить о специфике именно речевого глаза). Но Мамардашвили вообще отказывается от семиотики желаний, отказываясь тем самым и от мужского приоритета. Он отдаёт предпочтение женской (шпионской) позиции: лучше делать себя объектом графии, ускользая в конечном итоге за зеркала удвоений (Мата Хари, д’Эон, Декарт), чем наносить стигматы-метки, репрессировать, петлять в кольцах собственных желаний. “Я не хочу оказаться там, где меня не желают видеть. Отсутствие желаний — один из

великих законов жизни шпиона, о которой я уже говорил и которой живу”¹²¹.

Философия для М. Мамардашвили, по его собственному определению, это “сознание вслух”. В более развёрнутом виде (в докладе “Проблема сознания и философское призвание”) это определение обретает следующий вид: сознание как “сдвиг” “зеркальных отражений” мира по определённым “синтаксическим”¹²² правилам философской речи. **Философия — это синтаксический сдвиг сознания. Письменный или речевой.** Сдвиг в поле профессиональной предметности (в топосе тел понимания), исторически сформированной и экранированной удвоенными зеркалами самореференции (рефлексивное отражение). Философия — это не то, что “перед” зеркалом, и не то, что “за” зеркалом. Философия — это синтаксис сдвига “перед” по отношению к “за”, открывающий принципы взаимозависимостей, корреляции и реструктуризации потоков становлений. Философия — сама становление. Анатомия (или синтаксис) тел понимания находится в постоянном становлении, поэтому адекватной этому процессу может быть по преимуществу лишь вербальная функция. Приоритет речи — мышления вслух — перед письмом для Мамардашвили однозначен. Это приоритет реального водопада перед его скульптурным эквивалентом. Отсюда — поразительная практика вербальной метафизики, речевой дискурсивности, которую разрабатывал Мамардашвили.

Так, наконец, шаг за шагом мы приближаемся к основному парадоксу в философской концепции М. Мамардашвили. Вербально-визуальная складка, удерживающая собой тела понимания в наличии и удерживаемая в качестве складки телами понимания, организована по тому же принципу, что и сигнификативный атлас женского тела, т. е. на основе записи (графии) *желания*. В данном случае, говоря точнее и строже, — на основе *фонографии желания*. Метафизическое поле инвестировано желанием, и в то же время провозглашён принцип “отсутствия желаний”, отказ от семиотики желаний.

Этот парадокс останется неразрешимым, если мы упустим из вида тот факт, что Мамардашвили имел в виду отказ от желаний, сформированных наличными языками власти, мужским приоритетом в культуре. Желаний, получивших статус социальной грамматики, организованных в глобальный процесс производ-

¹²¹ Там же.

¹²² *греч. syntaxis* – составление; в данном случае – строй связной речи, принципы высказывания в рамках философского дискурса.

ства машин желания, побочным продуктом которого оказываются женские тела, репрессированные условиями патриархальной политики пола. Но если взгляд Мамардашвили обращён к иному типу желаний, то мы вправе задать вопрос: а существует ли в условиях “отсутствия женщины в культуре” женское желание? И как оно вообще возможно, если женщина конституирована по формуле “обратной афферентации”, аффектированного отражения мужского желания?

Увязывая становление философом с жизнью шпиона, Мамардашвили воспитывает в себе особый стиль философствования, который вместе с тем является специфическим ответом на вопросы, сформулированные выше. Как мы выяснили, метафизическая топология Мамардашвили совпадает с позицией “невозможного тела”-квазиоргана — речевого глаза.

В этой позиции “видеть” через “говорить” предлагает конституировать тела понимания ретроактивно, начиная с конца высказывания, поскольку формирование смысла в речевом потоке предполагает постоянный откат к началу сигнификации для удержания цепи значений, которые обретают характер синтагматических единиц речи только при замыкании конца синтагмы с её началом. Другими словами, семантико-синтаксические единицы речи начинают объединяться в смысловые и ритмомелодические фрагменты только по завершении фонации всех их элементов. И в этом отношении синтез элементов возможен только ретроактивно. Такого рода процедуры, введённые в организацию тел понимания, предполагают ряд инверсий и по отношению к микрополитике пола. Тела понимания перестают изначально маркироваться иероглифами пола, практика половой стратификации может осуществиться как вторичная операция рекодирования, как репрессивно-нормализаторская доминанция, но изначально анатомия тел понимания оказывается а-политизированной, открытой для перекомбинации наличных *begleitend* с множественным ансамблем возможных миров и тел.

Так Мамардашвили создаёт генеалогию, в которой политика пола теряет свою “исходную” субстанциональность, она оказывается надстройкой над множественными телами, вторичной формой кодификации, вводящей бинарную классификацию пола в порядка социализации индивидов. Поэтому женское тело вне мужского фантазма получает “невозможную” фигуративность с любым последующим вариантом превращений, сборок, ландшафтизации. В качестве *экстерриториального*, оно представляет собой нейтральное поле возможностей, в том числе и сексуальную возможность быть цветком, пчелой и солнечной интен-

сивностью одновременно, быть мужчиной и женщиной женщины, транссексуальным, моно- и полисексуальным. Это тело с текучим, нелокализованным и а-иерархическим либидо; его желания ненормированны, множественны и разнонаправленны. И только мужская власть приводит его к однозначной трансформации, навязывает ему социально-генитальный гештальт, удобно скроенный для манипуляций и потребления.

И тем не менее в этой аргументации парадокс всё ещё не находит своего окончательного разрешения, поскольку остаются неясными предпосылки такого рода “нейтральности” и экстерриториальности. Каким образом это нужно понимать? Как смену старой (исторически сложившейся в практике и познании) субстанциональности на новую, метафизически заданную? Не является ли эта нейтральность неким “природным началом”, а всё дальнейшее — ступенями трансформации природного социальным? Или это отступ в самой истории к допатриархальному миру?

Мамардашвили не разработал своей концепции истории, но очевидно, что исторический процесс мыслится им нелинейно. История не является прямой линией, на которой можно просто отложить точки “до” и “после”, выстраивать линейную, или даже деревоподобно разветвляющуюся от основного ствола, каузальность. Говорить о нейтральности полей порождения смысла или тела как о состоянии, *предшествовавшем* их ангажированности в ту или иную ментальную сферу, политику, территориализацию, идеологию, практику, так же неверно, как мыслить о процессе исторического развития в образе линии или даже дерева. Не привлекает его и постструктуралистский образ травы, с её ризоматической (подпочвенной корневой системой), нелинейной и нецентрированной связью. Историческое становление социальности, если спроецировать на этот процесс философскую точку зрения Мамардашвили, имеет более сложный характер. В нём текут разноскоростные и разнонаправленные потоки, обнаруживаются необобщаемые фрагменты, пробелы и разрывы, складки и сгущения, кристаллизуются и разрушаются ландшафты. Общественная история — это в большей степени *хаосмос* (термин Ф. Гваттари и Ж. Делёза: хаос и космос одновременно). Чувствующие и сознающие существа продуцируют по отношению к нему ориентирующие *картины мира* (“образы вынужденного понимания”, по Мамардашвили), которые в ментальном — и метафизическом — плане являются особыми схемами-экранами, упорядочивающими мир и в то же время ограничивающими поле и предметный состав зрения. Эти ограничения необходимы, но не абсолютны. И мир социального зазеркалья то и дело втор-

гается в этот наложенный порядок, частично дезорганизуя его и стимулируя соответствующие трансформации.

Нейтральные и экстерриториальные поля — элементы социального хаосмоса, они и “до”, и “после”. Мы так или иначе “пробегаем” (проживаем) их, но обнаруживаем только тогда, когда прерывается “предельный луч понимания” (М. Мамардашвили), когда появляется тот самый зазор между замещающим и замещаемым в качестве топоса “невозможной вещи”. Для определённым образом экранированного сознания они имеют статус *das Unding*, “Бога, играющего в кости”¹²³. Суть в том, чтобы найти способы перехода экрана, не разрушая, но и не догматизируя его. Этому усилию (близкому к процедуре “редукции естественной установки”, но не тождественному ей) и принадлежит мышление М. Мамардашвили.

Итак, в обобщённом виде вырисовывается следующая картина. Тела желания, тела шпионажа и тела понимания в основах своего становления и способов быть в наличии полагают нейтральные экстерриториальные тела, которые производятся социальной, но экранируются инвестициями “образов вынужденного понимания”. Превращённая форма является а-репрезентативным иероглифом этих экстерриториальных тел, присутствие которых сигнифицируется отсутствием прямых связей между замещающим и замещаемым. Превращённая форма и исходные отношения образуют двусторонний экран, в полости, зазоре которого конституируется топология нейтральных полей (тел) порождения, относительно которых как своей онтологии в данном случае обретают присутствие три вышеобозначенных типа тел. Из веера возможностей реализуются те, сигнификативный горизонт которых может проникать сквозь поры экрана и устанавливать свои пространственно-временные координаты, перекодировав предметное зрение по собственным принципам. Эта самореферентная система и является предметом философского исследования, строящего себя в соответствии с данным предметом, т. е. соответственно образующего сореферентную систему относительно исходной, и тем самым становясь такой же “невозможной вещью”, или “телом понимания”, в терминологии Мамардашвили.

Очевидно, что этот концептуальный взгляд имеет ряд следствий, определяющих общую архитектонику социальной и тех понятийных систем, которые структурируют её образ. Так Мамарда-

¹²³ См.: М. К. Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы... Сс. 36-37.

швили формулирует следующий принцип: “Мы понимаем сделанным, а не сделанное... Иначе говоря, мы понимаем и видим мир предметами [“неорганическим телом человека”. — С.З.]... при этом мы можем не понимать сами эти предметы”¹²⁴. Более того, понимая или зная что-то, мы можем не отдавать никакого отчёта о том, как мы это знаем, не понимать собственное состояние ума.

Именно в рамках такой “социальной алхимии”, производя женское тело, мужчина не подозревает того, что её “тайна” заключена в нём самом, что нет никакой “тайны женщины”: есть “тайна мужчины”, и она состоит в том, что он сам — женщина.

Именно так режимы власти производят состояние “внутренней эмиграции”, внедряясь внешней силой в пространство, где их компетенция ничтожна, а доминация абсолютна.

И если философ (или философия) пытается понять “собственное состояние ума”, то его (её) стратегия начинает совпадать с задачей шпиона: следить за состоянием своего ума и выпрашивать себя и своё понимание, принимать формулу “сделанного” (предмета), не принимая однозначной фигуративности его существования в рамках господствующей картины мира. Философия в качестве пространства множественных тел понимания противостоит “социальной алхимии” и ведёт свою подрывную работу там, где, казалось бы, безраздельно царят вечные, абсолютные истины и непререкаемые авторитеты.

¹²⁴ Там же, с. 67.

КРИЗИС ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ: --- **НОВЫЕ РУССКИЕ***

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению темы, сформулированной в виде заголовка, мы хотим сделать несколько предварительных замечаний, касающихся методологии и основных понятий, относящихся к культурологии и социологии этноса. Это представляется тем более необходимым, поскольку в данном эссе авторы пытаются обосновать и реализовать нетрадиционный подход к проблеме этнической идентификации.

Мы исходим из того, что сфера этнокультурных отношений, практик и представлений является — в конкретно-историческом взаимодействии — подчинённой социальным связям и становлениям. *Этническая общность есть лишь частный, хотя и специфический, случай социокультурных связей.* Т. е. тем самым невозможно говорить об этногенезе, минуя тот тип социальности, которому принадлежит данный этнос, минуя конкретную социокультурную ситуацию, в которой пребывает этнос, и посредством которой он реализует свои представления о способах и формах этнической консолидации, а также, собственно, внутри которой формируется сам образ, *этническое имаго*, с которым идентифицируют себя индивиды. При этом мы *определяем этнос* не просто и не столько в качестве некоего субстанционального образования, исторически сложившегося на определённой территории, а, по преимуществу, *в качестве функционального способа трансляции традиционного типа устойчивой*

* Эссе написано в соавторстве с Эдуардом Надточием.

общности, типа групповой связи с *гетерогенными факторами в своём основании* (язык, обычаи, психологический склад, способы хозяйственной деятельности и т. д.), сведёнными в целое *символической мотивацией единства* (родство и территория — “кровь и почва”).

Этническое — это те отличительные культурные или субкультурные метки, стигматы, которыми маркируются индивиды в качестве принадлежащих данной общности и которые, в свою очередь, присваивают себе индивиды в качестве субъективных носителей этого единства. Несомненно, что эта процедура не имеет характера “генетического наследования”, а всякий раз начинается “с нуля”, с самых архаических социальных форм посредством особого социокультурного механизма, особой машины обобществляющей записи. Такой машиной записи, с нашей точки зрения, является *зависимая группа*, в которую с необходимостью включён индивид и в которой формируется поле определений его субъективности.

Социология зависимых групп и является тем методологическим основанием, относительно которого рассматривается наша проблематика этноидентичности. Необходимо отметить, что здесь мы не следуем традиционной социологии, которая приняла постулаты европейских общественных наук и развивает, по существу, *позитивистскую социологию Эго-идентичности*, минуя коммунальные социальные организмы и системы символического, жертвенного обмена, функционирующие в их истоках.

Традиционный теоретический подход находит своё обоснование в *геополитическом* взгляде на мир — особой социокультурной парадигме, выработанной в европейской ментальности, относительно которой верифицируется и этносоциология. Мы предлагаем иную топологию социокультурного пространства, к которому принадлежит Россия, — *хронополитическую*. И это существенное различие в теоретической интенции позволяет, как мы думаем, более адекватно поставить вопрос о типе и способе этноидентичности в нашем обществе.

Также мы используем понятия *этническое воображаемое*, *символический обмен*, *симулякр*, *потлач*, которые были введены в научный оборот такими французскими теоретиками этнологии, социологии и культуры, как К. Леви-Стросс, М. Мосс, П. Бурдьё, Ж. Бодрийяр. Эти понятия будут определены из контекста их употребления.

А. Социология зависимых групп и проблемы кризиса этноидентичности

Основанием для выработки динамичной теории, соответствующей проблемам российской самоидентичности, является, с нашей точки зрения, *предварительное разведение групповой и индивидуальной этноидентичности как культурно-исторически разных типов порождения социокультурной связи*. Позитивистская социология, присвоившая себе сегодня точку зрения науки как таковой и говорящая от лица “истины в себе”, сама является в этой связи лишь вторичным следствием того способа идентичности, который выработал европейский культурный мир, а именно индивидуальной эго-субъективности.

На деле, разумеется, невозможно говорить об особой “индивидуальной” идентичности, отличной от групповой (= “ролевой подход” в позитивистской социологии). Скорее необходимо выделить *различные типы групповой идентичности, по-разному транслирующие в сферу социокультурных институтов символические основания этнической связи*. Тогда европейская эго-субъективность предстанет одним из способов коллективно-групповой идентичности, равноправным со многими другими, что позволяет избежать какой-либо односторонней абсолютизации.

В мире зависимых групп и соответствующей им концепции социальных институционализаций этническое как таковое подчинено внешней цели, существует как часть телеологического целого, но такая часть, которая в сравнении с другими социально или политически организованными единствами наименее подвержена дезинтеграции. Своё оправдание этническое обобществление индивидов организует внешним образом, получает его “извне”. Подсистема, в которой обосновывается цель этнического единства, – всегда в остатке, всегда дополнительна по отношению к другим видам связи и поэтому зачастую не реагирует на их разрывы (или вернее, реагирует прямо противоположным образом: на месте разрыва реартикулирует свою обобщающую связь). *Линия*, за которой это единство переходит к своему “высшему обоснованию”, *трансгрессивна*, это порог, по пересечении которого только и рождается субъективность, присваивающая себе атрибуты этнической связанности.

Нам приходится опустить всё, что связано с экспликацией такого взгляда на присвоение субъективности в рамках этноидентификации. К сожалению, для этого пришлось бы слишком многое вводить с самого начала, что напрочь увело бы нас от жанра дан-

ного очерка. При необходимости это важное измерение можно ввести дополнительно.

Линия, которую приходится пересекать в поисках формулирования телеологического высказывания об этом, а не другом способе присвоения субъективности в составе этнических образований, — это линия перехода от *символических оснований* социокультурной связи к сфере *воображаемого*, где по “неизвестно откуда взявшимся” правилам грамматики функционируют все типы языков сознания: в сфере институтов власти, в сфере трансляции знания, в сфере воспроизводства этнического гештальта, в сфере экономической организации жизнедеятельности, в сфере культурных практик и т. п. Эта грамматика, эта артикуляция общественных институтов является в мире *зависимых групп* необходимым медиумом присвоения *этничности* агентами *символического обмена*, обмена, не основывающегося на рациональной калькуляции и экономической эквивалентности обмениваемых частей. За этой линией, до её перехода, на уровне “чистого символизма”, принципиально блокированы все возможности контроля за символическим обменом. Он действует, в полном соответствии со старой марксистской формулой, как слепая сила, не ведающая выбора, и обнаружение этой силы приходит только ретроактивно, после того как она сформировала репрезентирующие её в качестве “вечной и абсолютной” (субстанциональной) структуры грамматики осознанные этнические отношения. Такого рода линия в психоаналитическом измерении называется “желанием”, в социологическом — “потребностями”, в этнологическом — “идентичность”.

Формы пересечения этой линии, соответствующие тому или иному типу символического обмена в рамках социума зависимых групп, задают коды *пространственного* распределения этнических связей (и социальных структур), а репрезентация субъективности *территориализуется*. Иными словами, возникает *геополитический образ этноса*, построенный на зависимых группах.

Выделим два наиболее важных для нас типа присвоения субъективности описанным выше образом. *Первый* из них — это и есть “индивидуальная эго-идентичность”. Его принципиальной особенностью является полное вытеснение мира символического в сферу этноидентичности, дистанцирование от него как от действовавшего по принципу доминанты в другую культурную эпоху или в другом культурном мире.

Аппаратом, позволяющим осуществить эту операцию, является *этика эквивалентного трудового воздаятельного усилия*. Взаим-

мообратимая симметричность акта обмена дарами с Богом как с трансцендентальным гарантом осмысленности трат физической и нервной энергии превращает агента этого специфического акта в экзистенциальное основание репрезентаций реальности, в единицу общественного осознанного действия. Таким образом, личность превращается в неделимый далее *атом производства социальности, в единицу субъективности*.

Для целей дальнейшего исследования важно отметить, что в данном случае происходит объективное разделение исходного сообщества (“объективное расщепление труда”), в рамках которого утрачивается всякая способность реартикулировать коллективные формы связи, превышающие своей субъектной размерностью личностный суверенитет, поэтому этническая идентичность инвестируется в субъекта ещё на предварительной стадии, после чего она не представляется личности чем-то навязанным извне. Активным агентом идентификационной сборки становится “беспристрастный арбитр”, опосредующий акты человеческой жизнедеятельности: язык, традиционные орудия и технологии производства, предметы повседневного быта, коллективный эмоционально-психологический фон и т. п. На разных уровнях стратификации европейского типа сообщества такими агентами являются семейная машина, государственная машина, диаграмматическая научно-методическая машина, машина гражданского мира.

Всё это всесторонне описано в литературе, и нам, для наших целей, необходимо отметить только то, что овеществляющей стратификации здесь подвергается всё общество, что грамматикой, управляющей артикуляцией социального действия в этом типе общества, является грамматика жёсткого *ролевого ранжирования* (описанного Марксом на частном примере товарного фетишизма) внутри того или иного страта: экономического, административного, политического, этнического и т. п. Однако источником динамичности и активности для данного типа связи является избыточная (де-территориализующая) энергия конверсии *символического в знаковое* на каждом из стратов, при записи на нём связующих кодов эго-идентичности. Субъект — это всегда нечто большее и другое, чем Я, действующее на том или ином поле жизнедеятельности, нечто принципиально нецентрируемое. На деле за этой нецентрируемостью стоит, разумеется, *невозможность абсорбирования личностью всех атрибутов вытеснения изначальной коллективности, исходного символического акта этнокультурной связи*. В результате субъективность делегируется полю “свободного выбора”, полю межстратных взаимо-

действий, её присвоение — это всегда открытая проблема. Этот тип конверсии символического в знаковое, совмещающий жёсткое ролевое распределение внутри стратов со свободной игрой символизма в межстратных взаимодействиях, и составил основное преимущество *европейского* (“капиталистического”) *способа структуриации веера социокультурных связей и моноэтнических образований*. Именно на этой основе присвоение субъективности оказывается ведущим фактором динамизации связей индивидов. А вовсе не “рынок” как таковой. Товарно-денежный символизм (и здесь Маркс оказался не прав, присвоив ранг всеобщности этому частному типу эго-грамматизма) вовсе не достояние “капитализма” как такового. Успех обеспечила фрагментационная сборка стратов на основе резонанса, создаваемого *машинной объективного расщепления труда с её ролевым (классовым, по Марксу) ранжированием*. Коллективная основа вытесняется в символическую сферу и требует новой реартикуляции социального единства. Такой реартикуляцией и является постулирование *этнической общности как гаранта от расщепления социальности на несводимые антагонистические фрагменты*.

Вторым, значительно менее описанным применительно к нашим целям, типом присвоения субъективности через зависимую группу является *корпоративная*, или, как её называют, “восточная” модель развития. Попытки определить её специфику зачастую движутся в рамках зеркальной оппозиции Восток — Запад.

Нам представляется, что возможно значительно более строгое описание восточной социокультурной модели (на деле сплошь и рядом осуществлявшейся в самой Европе), основанное на *субъективном расщеплении труда* в рамках зависимой группы. Конверсия символического в знаковое здесь происходит также через создание жёсткого ролевого распределения, но столь *радикального вытеснения символической коллективной основы здесь не происходит*. Поэтому основополагающей *единицей остаётся группа*, действующая подобно отдельной личности в “европейской” модели. Подобие, разумеется, только внешнее, ибо вытеснения агента идентификационной сборки в нечто объектное не происходит — *не “человек приспосабливается к разделению труда”, а идёт приспособление способов организации трудовой эффективности к топологии культурного символизма групповых связей* данного общества “восточной” модели. Поэтому универсальности модели эго-идентичности сегодня здесь противостоит видимое многообразие форм *инкорпорации индустриализма*. Ролевое ранжирование по этническим признакам в

данном случае не гомогенно, а гетерогенно: один его тип дан внутри микрокосмов зависимых групп, другой — внутри макрокосма тотальности общественного целого.

Однако важно то, что в условиях легитимного развития этих типов общества микроранжирование находится в подчинении макроранжирования, под него подстраивая свои ключевые артикуляции. Будь то племена, общины или фабрики, цель и источник своего функционирования первичные микрокосмы находят в рамках восточно-индустриальной модели вне себя, *в соотношении и адаптации к другому*. Этот “другой”, однако, репрезентирован достаточно жёстко в отличие от систем с эго-идентичностью. Им является тот или иной тип суверенного, иницирующего процесс развития агента, будь то государственная машина, президент, император, популярный лидер (вождь) или партия. Иными словами — персонифицированная инстанция деспотизма. Трудовое усилие, усилие вне субъектного прибавка “ради него самого”, и здесь, разумеется, имеет ключевое значение, но способ его осуществления, в отличие от трудовой этики эквивалентного воздаятельного усилия, совершенно иной. Это — *индустриальный потлач* в том или ином его виде, труд-дар, труд-жертвенное усилие. Труд как ранговое подчинение деспоту, как принесение ему даров.

Динамизм в этом типе зависимых групповых связей достигается за счёт разрыва между внутриэтнической и межэтнической репрезентациями ролевого распределения, за счёт войны между групповой структурой и структурой всеобщего жертвенного трудового усилия. Разумеется, динамизм здесь не есть нечто автоматически достижимое, как в обществах эго-идентичности. Он целиком зависит от программы действий деспотической инстанции и всякий раз является открытым вопросом. Деспот — это и есть топологический зазор между групповой и межгрупповой структурами, “непредсказуемость” его действий определена логикой этой системы, которая отвела ему место машины войны. Он репрезентирует субъективность для пытающихся обрести в жертвенном трудовом усилии идентичность с инстанцией групповых микрокосмов. Успех *в тактике организации недостижимости инстанции* жертвенным усилием и есть успех в поддержании динамизма для деспотической инстанции восточно-индустриального трудового грамматизма.

Это общество имеет не только вполне очевидные недостатки, но и ряд преимуществ перед эго-индустриализмом. Главное — это возможность более гибкого приспособления к катастрофизмам, большие ресурсы внутренней энергии для переструктуриации в

таких условиях. Ошибкой современной западной и русской политики является попытка измерить эти общества по идеалам эгоиндустриализма. Здесь нет личностной размерности и автономии, и судить с её точки зрения об этих режимах как о террористических — далеко ведущее по своим последствиям ложное умозаключение.

Важно отметить, что, хотя пересечение линии конверсии символического в знаковое и в той, и в другой модели задаёт пространственный тип этнической топологии, т. е. выстраивает оба типа индустриализма зависимых групп как основание для *геополитических* социумов, геополитизм этот в том и другом случае имеет принципиальное различие. В случае эго-идентичности это *горизонтальный* геополитизм, геополитизм колонизирующе-экстенсивный, в то время как в случае деспот-идентичности это *вертикальный* геополитизм, геополитизм разъединяюще-интенсивный. Если европейский тип социальности имеет намерение универсально распространить себя как “единственно правильный” на весь мир, то восточный геополитизм имеет тенденцию уникализироваться, партикуляризоваться, отличить себя от “прочих”. К сожалению, агрессивная политика универсализующего эгоиндустриализма принуждает принимать и деспот-индустриализм эту несвойственную ему стратегию, что обычно создаёт взрывоопасную ситуацию. Ибо принявший стратегию действия противника деспот-индустриализм инвестирует в международные отношения свой внутренний тип устройства, создавая пространство идеальной предвместимости для инстанции международного деспотизма, редуцирующего разные сообщества к роли зависимых групп (война Ирака с НАТО — “Буря в пустыне” — здесь наиболее красноречивый пример).

Обычно российскую ситуацию пытаются охарактеризовать как “срединную” между Востоком и Западом, т. е. составляют что-то чрезвычайно эклектичное в рамках той или иной предложенной топологии Восток — Запад. Мы же хотим предложить — и для этих целей столь долго и описывали другие ситуации — вообще *выходящий за рамки бинарной оппозиции Восток — Запад способ идентичности в рамках российского индустриализма*. Мы связываем этот способ идентичности — в его социокультурном измерении — с понятием *субъектной группы* (этническая общность российского типа), т. е. группы, контролирующей способы своего определения, своей репрезентации и активно продуцирующей орудия для экспликации объекта своего желания. Такие группы открыты миру за пределами непосредственных (ролевых) интересов, а значит, не нуждаются в адаптации к вы-

несенной вовне инстанции субъективности. Свою субъективность они формируют внутри самих себя.

Из этого элементарного социологического определения, в контексте заданного способа рассмотрения производства порядков идентичности, следуют выводы вовсе не элементарные. И первый из них тот, что для такого рода групповой определённости *отсутствует трансгрессивная линия, отделяющая символическое от знакового и переводящая символическое основание этнической (в том числе и социальной) связи в план воображаемого, в план структурно артикулированных социокультурных институтов.* Способ овладения социокультурным символизмом в российской ситуации, на наш взгляд, связан именно со стратегией, рождающейся, на элементарном уровне, в субъектных группах, а именно *со стратегией а-сигнификативного кодирования желаний-потребностей, а-знакового их выражения.*

Суть этой стратегии — во включении в производство фантазматических частичных объектов особой *дополнительной точки референтности*, не центрированной на особом объекте и месте индивида на социальной шкале. Такой дополнительной точкой референтности является точка (не евклидовская, не локализованная) “сверхтрансфера”, прорыва за воображаемое как таковое. Или такой радикальный опыт конверсии символического в знаковое, который лишает знак его осмысленности через биуниверсализм “означающее/означаемое”, оставляя от знака лишь его экспрессивную эмблематику (план выражения).

В конкретном виде это выглядит как формирование этнического единства на имманентном плане из дорепрезентативных сингулярностей (или пострепрезентативных), как складывание этноса без трансцендентальной перекодировки его внешней инстанцией субъективности, складывание из чего-то одновременно меньшего и большего, чем структурно стратифицированная собранность социальных институций. Иными словами, вне привычных для традиционной социологии содержательных фигуративностей “социальных классов” и “политических организаций”. То, на чём базирует свой способ экспликации социальной связи традиционная социология — репрезентация знаков в артикулированные структуры, в жёсткую (“научную”) систему стратов, — вообще уступает здесь место принципиально новому виду научного диаграмматизма. Этот грамматизм предлагает принципиально иной тип построения высказывания — *коллективное высказывание*, в отличие от присвоения субъективности зависимой группой, целиком завязанное на синтагматику индивидуализированного высказывания

Терминология, требуемая для описания коллективного высказывания, непривычна прежде всего потому, что она лежит совершенно в другой плоскости, нежели обычная для традиционной социологии и этнолингвистики терминология геополитических репрезентаций. Диаграмматика территориализации и детерриториализации значимых знаков, машины их символической перекодировки для построения той или иной фигуративности социума или его этнического измерения — всё это в традиционной социологии как бы вынесено за скобки. Саму себя, как активную силу, как машину означивания, как специфическую стратегию обращения символического в знаковое, эта социология не желает учитывать. Это необходимая часть её стратегии по формированию глобального универсалистского взгляда из символических предпосылок жизнедеятельности национального новоевропейского человека. На деле же такая доктрина — это всего лишь попытка обратить в “истину в себе” геополитический тип перекодировки и ре-территориализации избыточных (детерриториализующих) практик означивания и структурирования этнических и социокультурных связей.

Жанр данного эссе опять же не даёт возможности сколько-нибудь широко разъяснить терминологию, которой мы пользуемся для описания невозможного с точки зрения геополитической репрезентации *мира а-геополитического*. Это не мир прерывных знаковых цепей, складывающихся в фигуративности недвижимых, ригидных социокультурных институций, а мир потоков, материальных и знаковых, образующих в точках пересечения (конъюнктивного или дизъюнктивного) интенсивные множественности, вступающие друг с другом в отношения перекодировки и декодировки. Мир, в котором арены свершения событий — это не нечто от века заданное в качестве “неорганического тела”, природного ландшафта, а активно формируемые (в ходе действия территориализации/конъюнкции материальных и знаковых потоков) площадки овладения избыточной сигнификативностью. Объектом исследования являются здесь системы векторов, распределяющие на плане последовательности интенсивные множественности. Эта система векторов, или *абстрактная машина* (диаграмма распределения интенсивностей), имеет в семиотике интенсивностей то же место, какое имеет в традиционной социологии исследование структуры социальных институтов. Абстрактные машины не зависят от пространственно-временной спецификации социальной фантазии и конституируют локус любой последовательности, необходимой для исследования истины. По сути дела, абстрактные машины кристаллизуют первичную интенсивность детерриториализи-

зации, “предшествуя” актуализации конъюнкций между системами знаков и системами материальных интенсивностей. Они создают план машинной последовательности как основы существования. Вопрос существования в этом мире, следовательно, это вопрос выражения последовательности и необратимости детерриториализованных машинных мутаций, имеющих место в становлении. Коллективная сила высказываний, геометрия которой — это геометрия *становления*, позволяет преодолеть центриацию исследований истины на абстрактном человеке, преодолеть антропоцентризм. Диаграмматизм символики человеческой жизнедеятельности нецентрированно и многомерно подключается к другим типам диаграмматизма: научным, художественным, техническим и т. п.

В наших кратких, и оттого весьма затруднённых для понимания, описаниях коллективной силы высказывания как а-геополитического семиозиса можно, во всяком случае, сделать ряд общих предварительных заключений о том, что:

1) геополитический способ репрезентации обращения символического в знаковое (в качестве теоретической подкладки культурологии этноса) есть частный случай более общей семиотики интенсивностей;

2) современное состояние эго-индустриального типа цивилизации пришло к проблемам а-геополитического семиозиса, к преодолению антропоцентризма и соответствующего ему индивидуализированного типа высказывания;

3) пресловутый “космизм” классической русской философии и нелокальное бытие русского этноса есть нечто значительно более актуальное и значительно менее “духовное”, чем это принято думать. Исследование “космизма” с точки зрения предложенных способов анализа оснований этноса и его идентичности — это задача не архивная, а напрямую связанная с сегодняшней проблемой русской идентичности.

Б. Кризис идентификации

В результате августовского кризиса и распада СССР социальная система лишилась своей идентичности, и поскольку субъект общественных отношений задаётся комплексом социокультурных механизмов, то их слом и дисфункция ведёт к разрушению инвариантных процедур идентификации индивидов относительно своего общественного статуса и стабильных ролей. Это говорит о том, что субъект социального, экономического и политическо-

го действия производится *актуальными социокультурными технологиями*, в рамках которых он представляется статическим до тех пор, пока действуют эти технологии. Но их динамическое изменение, или, более того — разрушение, ведёт к соответствующему динамическому изменению самого субъекта, организующего эти изменения для собственного восприятия как непротиворечивые. Но если социальный динамизм начинает *превышать* возможности придания ему смысла непрерывности, то индивид оказывается перед лицом идентификационного кризиса.

Те отождествления, которые захватывали любого индивида в течение семидесяти лет и вмещали ему социокультурные определения, были полностью связаны с топосом “советского человека”, устанавливаемым поверх любых национальных типов. “Советский народ” как новая историческая общность не просто интернационален, в значительной мере он — транснационален, так как “национальное” в целом приносится в жертву “советскому”. Разложение и фрагментация транснациональной фигуративности “советский народ” осуществляется на основе реставрации национальных канонов. Эта реставрация в качестве актуальных технологий запускает механизм суверенизации (в полном аспекте экономических, политических и культурных изменений), а также — автохтонный институт религии. И тем она успешнее, чем более моноэтничен территориально-национальный регион.

Реставрация русскости при этом сталкивается с серьёзными трудностями, поскольку этническая идентичность русского народа в своё время не развилась до единого универсального канона (существовавшие прежде каноны русскости, как-то: дворянский, казацкий, крестьянский, фабрично-заводской — были всё ещё принципиально несводимы); к тому же эта идентичность определялась не на основе гомогенного замыкания территории государственным устройством монокультуры и моноязыка, а в условиях фрагментированного растекания в порах других этносов.

Исчезновение фантазма великой родины — Советского Союза — в качестве гаранта от ассимиляции требует создания новых механизмов идентификации, при которых ситуация русских среди других этносов, с одной стороны, не имела бы имперского характера самодовлеющего присутствия, а с другой — не вела бы к “ливанизации”, то есть к военной стратегии выселения их как “инородцев”. Но в любом случае эта амбивалентность фундаментальна на коллективный тип идентичности субъектных групп, за которым стоит особый тип экономической деятельности, а именно затратная, неэквивалентная экономика. Переход к ры-

ночной экономике знаменует внедрение эквивалентных регуляторов и возникновение частных производственных структур. И этот процесс является вторым мощным фактором кризиса идентичности.

Итак, в основе кризиса идентификации лежат две наиболее существенные причины общественной динамики: 1) разрушение социокультурной определённости системы, к которой принадлежат индивиды; и 2) радикальное реформирование структурно-конститутивных экономических, политических и ментальных сфер коллективной идентичности. Результатом действия этих причин является то, что индивиды не могут соотнести себя с однозначной социальной ролью, определить свой социокультурный статус и вписать себя в конкретный национальный канон. Состояние неопределённости интенсивно разлагает инерционные механизмы идентичности и прежде однородную структуру общественной психологии, усугубляя кризис идентификации и связанную с ним истеризацию общества.

Поскольку смысложизненное пространство индивидов ставит перед ними неразрешимые проблемы, постольку индивиды начинают поиск социально-национального гештальта в предшествующем историческом времени, позволяющем обрести легитимированный через традицию этнический образ. Несомненно, что современный контекст не может воспроизвести все условия того или иного канона русскости прошлого, поэтому эти каноны приобретают несвойственную для непрерывного этногенеза форму *симулякра*, т. е. форму образа, утратившего реальность, утратившего своего референта. Уже только этот фактор говорит, что проблема идентичности русских не может рассматриваться по шаблонам национальной идентичности европейских народов.

Этническая сборка на основе симулякра, то есть сборка, не обеспеченная реальными способами воспроизводства канона русскости, осуществляется в сфере механизмов коллективной идентичности. Тем самым реактивация русскости опирается на механизмы, предназначенные деструкции процессом реформ. Русскость в рамках национального воображаемого приобретает форму *кланового ранжирования субъективных групп*, которое является специфическим ответом на вызов приватно-индивидуальной идентичности. Клановая идентификация позволяет оформиться, помимо всего, и националистическим группам. Такие группы оказываются наиболее адекватными ситуации кризиса, так как основными скрепляющими элементами для них являются две эффективные идеи: патриотизма ("кровь и почва") и врага нации. В любом случае решающей для последующего

развития ситуации может оказаться проблема суверенности частных пространств, проблема обеспеченности их перед лицом корпоративных союзов.

Между тем основная масса общества пребывает вне корпоративных образований и опирается на среднестатистические коммунальные идентичности, предоставляемые гомогенным образом жизни, условиями труда, языком и культурными контекстами. То, что эти условия и контексты пришли в движение, нарушив всеобщую устойчивую фигуративность этнического образа, ставит огромное количество людей вне поля идентификационной определённости. Если они не могут отождествить себя ни с одним каноном национального воображаемого или национал-патриотическим гешталтом, то им остаётся пребывать в неопределённости по мере того, как заработают необходимые для идентификации актуальные социокультурные технологии. В данных условиях они представляют собой неупорядоченную номадическую массу, дрейфующую в пространстве противоречивых этносоциальных векторов, где каждый последующий выбор всё ещё не обеспечивается необходимой стабилизирующей технологией. По крайней мере, то, что предлагает массе в данный момент мнемотехника отождествления, не находит своего потребителя в достаточных масштабах. Это говорит о том, что в рамках социокультурной системы перестают работать культурные традиции, разрушается привычная картина мира, моральное и мотивационное нормирование, то есть возникает тенденция к социальной дезинтеграции. Но именно эта дезинтеграция ещё с большей необходимостью требует, в качестве противовеса, нового обоснования этнического единства, как наиболее стабильного вида связанности, апеллирующего к символическим — превышающим любую дезинтеграцию — основам изначального коллективизма.

Между тем идентификационный новобранец времён радикального реформирования, утративший “советскость”, но не вписавший себя в ретрорусский канон, всё чаще начинает перемотивировать свой транснациональный статус в *а-этнический* (что невозможно представить с точки зрения традиционной теории) гешталт. “Новые русские” — это русские, не осуществившие трансисторического отката к исходной (досоветской) фазе национального имаго. Именно поэтому они собирают себя *а-этнически*, исходя из принятой ими социальной мобильности. Для новых русских утрата исторической, национальной памяти, перерыв этногенеза оказывается той катастрофой, после которой сама русскость должна вырасти из самих условий катастрофы

как неизбежных признаков русского национального типа. Таким образом этнокатастрофизм вписывается в национальный гештальт, приобретая почти парадоксальную формулу: *русским является тот, кто не может собрать своё национальное имаго посредством бесперебойного этногенеза, кто воспринимает свою национальную идентичность а-этнически, через разрыв, сдвиг, неупорядоченность этноморфизма.*

Новые русские собирают себя фрагментарно, посредством серий: трансляция национального опыта, традиций, “национального генотипа” всякий раз должна начинаться с архаических форм, с записи на теле — от разрыва к разрыву, от катастрофы к катастрофе. Таким образом, сама катастрофа оказывается наиболее решающим механизмом идентификации, ибо она записывает национальную принадлежность прямо на теле индивида.

Собственно, решающим способом парадоксальной перемотивации этноидентичности в сторону её а-этнического типа является процедура трансформации трансцендентальных (внешне данных) средств воспроизводства социокультурных связей в имманентные так, что индивид получает возможность выражать себя на языке перформативной фрагментационной сборки, позволяя беспрепятственно распространиться принципам серийности и фрагментации на сферу самотождественности, то есть, следовательно, на сферу самостоятельного принятия политических, экономических или мировоззренческих решений. Так *индивид получает имманентные средства легитимации, принимая формулу этнокатастрофизма как сущность своего национального гештальта.*

При этом гомогенность и бесперебойность этноморфологии европейского образца, а также и коллективный тип идентичности оказываются лишь частными случаями сборки национального статуса индивида. А-этнический тип идентичности всякий раз оказывается *на линии деконструкции* этих частных случаев и поэтому необходимо связан с овладением политикой скорости, способной организовать трансверсальное (номадическое) движение индивида в любых социокультурных векторах.

Новые русские как бы лишены исторической памяти, но только не мнемотехники катастрофы. Отсюда их попытки — и весьма удачные — осуществить на собственной основе “структурную революцию ценностей”. Особенно это показательно для новых русских в сфере предпринимательства: становление их капитала замкнуто в меновой игре различий экономических фрагментов, зависящей только от скорости гетерономного связывания звеньев обмена. Производство товаров здесь оказывается лишь слу-

чайным артефактом структурных игр обмена, а прибавочная стоимость не поддается калькуляции и регуляции посредством рациональной динамики капитала. Тем самым в основе такого рода бизнеса лежит всё тот же неэквивалентный обмен с его симулятивной экономической стратегией и продуктивной гиперреальностью. И как ни парадоксально, именно с этой точки зрения новые русские способны вписаться в движение западного капитала, который сегодня сам в своём становлении подошёл к черте безреферентного — неэквивалентного — обмена, порождая симулякрию товарного мира.

Обнаруживая сверхскоростную стратегию освоения фрагментирующейся социальности, новые русские превращают это качество в один из позитивных факторов самоосуществления. Самореализация такого типа в экономическом мире тождественна утрате меновой стоимостью своего носителя — потребительной стоимости. Меновая эффективность оказывается освобождённой от изначальных целей производства материальных благ и замыкается на скорости связывания различных стоимостей, черпая из этой скоростной вязки прибавок в масштабах, которых не знает капиталистическая норма прибыли. И если в экономическом мире тому в основном две причины: отсутствие стимула в производстве товаров и гиперинфляция, — то в социальном мире это означает, что индивид, реализующий себя а-этнически, не находит реальных стимулов в соотнесении себя с ретрорусской идентичностью (то есть с символическим основанием нации), которая представляется ему не чем иным, как гиперреальностью. Таким образом, можно предположить, что если *ретрорусские каноны являют собой симулякры*, то новые русские, претендуя на знаковые основания самоосуществления, оказываются, как минимум, *симулякром второго порядка* — специфическим ответом на проблему интеграции неэквивалентной экономики в европейский мир.

В целом а-этническая идентификация обнаруживает такой способ конвертируемости знакового и символического, при котором отдельный индивид социальной структуры имеет внутри себя источник самодвижения и может работать вне институциональной решётки, в которую он изначально включался. Своё становление он реализует на основе непрерывной динамической переструктуризации связей как внутри себя, так и с другими партнёрами.

Совершенно очевидна связь такого рода идентичности с *хронополитическим* (= хронографическим) социокультурным контекстом, образованным способом сборки и функционирования советской империи (а прежде — Российской Империи). Гетеро-

генность множества диффузирующих друг в друга этнообразований с неизбежностью порождает *трансэтнические, трансрегиональные стратегии*, которые после слома тотального координированного плана насилия стали *основой для а-этнической идентификации хронополитического порядка, в противоположность моноэтническому геополитизму*. (По сей день остаются серьёзно не продуманными стратегии советского — и шире, марксистского — интернационализма, опрокинувшего архаику этногенеза.)

Для того чтобы развернуть генеалогию новых русских, мы должны были бы построить всю топологию хронополитического ландшафта как “порождающей грамматики” а-этнического идентификационного канона, что, конечно, невозможно, учитывая жанр и границы данной работы. Но тем не менее — это остаётся самой насущной задачей в рамках определения процедур ответа на идентификационный кризис в пост-СССР. Здесь же мы можем представить лишь результирующие позиции хронополитической топологии, с тем чтобы окончательно определиться в предпосылках становления нового русского национального типа. К ним относятся:

1. Фактор отношения зеркально-обратимой модели “Запад — Восток” к собственному симулякру в современной российской ситуации как на уровне этнической ментальности, так и в качестве оператора социальных связей. (Кризис науки как идеологии, постиндустриальная ситуация в Европе и образ новой науки. Реформирование геополитических способов репрезентации власти в рамках перехода к хронополитике.)

2. Симулякрия европейскости и порядки трансрегионального символического обмена в этностановлении. (Конверсия рационально-калькуляционной утопии тотального учёта и контроля в гетерономный тип экономики — “неэквивалентный обмен”. Проблемы конверсии фрагментационного типа этнического бытия — “коммунальной телесности” — в приватное пространство, симулируемое знаковым/эквивалентным типом обмена.)

3. Соотношение между радикальным реформированием по европейскому образцу и символическим обменом в рамках экономики коммунального сообщества. (“Разгосударствление” и его конверсия в экономику жертвы. Символические основания коллективности и знаковый “вызов”. Кризис этногенеза: история и идеология.)

Таким образом, именно эти факторы мы считаем основными, глубинными предпосылками, открывшими путь а-этнической

идентификации для тех, кого мы сегодня называем “новые русские”.

Так или иначе, но в данной работе мы описываем механизмы идентификации для отдельных активных в поисковом отношении групп, вне которых остаётся всё ещё значительное число населения. И поэтому говорить о перспективах преодоления всеобщего идентификационного кризиса можно, по крайней мере, только когда:

а) окончательно стабилизируются и укрепятся актуальные социокультурные технологии способов присвоения субъективности то ли в приватно-суверенном, то ли в коммунально-клановом отношении;

б) в виде обобществлённого образца наконец начнёт воспроизводиться в сферах государственных институтов и общественных организаций социальный и этнокультурный канон российской политической системы, фундированной в структурно определённом, устойчивом типе экономической деятельности.

Но всё это не означает, конечно, того, что мы не можем говорить о некоторой сложившейся тенденции в поисках ответов на кризис идентичности. И к такой тенденции (помимо реставрации предшествующих канонов русскости) мы относим становление а-этнического типа идентификации и возникновение специфической трансверсальной “страты” — “новые русские”. Её трансверсальность определяется тем, что эта страта не совпадает ни с одним фрагментом социальности, не локализована ни одной зависимой группой, но разнонаправленно пребывает во всех слоях то ли в качестве посредника между фрагментациями, то ли как свободный элемент, реализующий себя сразу в нескольких слоях за счёт хронополитической (а-этнической) мобильности, за счёт трансгрессивной пульсации символических оснований самой серийно-фрагментированной социальности. Фактически нельзя с определённой судить об устойчивости такой страты, принимая во внимание её склонность к метаморфозу. Вполне возможно и то, что новые русские являются лишь переходным звеном в попытке конверсии коммунального социального пространства в приватное, являются специфической формой их взаимопревращения. Но если это так, то мы можем с достаточной точностью прогнозировать, что ожидает основную массу общества в ближайшей перспективе.

Однако теперь мы хотим вернуться к теме *субъектных групп* и продемонстрировать некоторые следствия для культурологии

этноидентичности при рассмотрении реального функционирования этого типа групп и проблем идентификационного этнокастастрофизма.

Первое, с чем приходится расстаться исследователю русской ситуации, — это с трактовкой этой ситуации через *отношение ролевого распределения сил жизнедеятельности*. Попытка построить ландшафт конфликтологии во взаимодействиях классов, социальных групп или геополитических этносов просто вытесняет российскую ситуацию из анализа, замещая её симулякром индустриализма зависимых групп. Куда ближе к ситуации тот или иной вариант корпоративизма, предлагаемый сегодня осмеиваемыми национально-патриотическими силами. Но и он продуктивен лишь в той мере, в какой он не связывает себя с устоявшейся — совершенно воображаемой — трактовкой русского государства как базирующегося на общине. Только тогда, когда теория корпоративизма будет освобождена от структурно-стратного подхода к обществу (здесь многое мог бы дать анализ способов размышления итальянских фашистов времён Муссолини, и это почти не исследованное у нас явление), лишь тогда она станет эвристична в описании русской ситуации.

Российский тип индустриализма, на наш взгляд, продуктивно может исследоваться, исходя из диаграмматического взаимодействия абстрактной машины государственного аппарата с материальными потоками интенсивностей. Точнее, из сопоставления трёх звеньев: *распределения* первичных жизненных интенсивностей на а-ландшафтных аренах Русского Мира; *абстрактной машины государства* (слово “государство” здесь достаточно условно, необходимо говорить о властной машине кодирования), осуществляющей действие территориализации и детерриториализации; *знаковых потоков*, о которых в общем виде можно сказать, что они являются инвестицией социума зависимых групп, в обеих его основных формах. Образующиеся из сочленения этих звеньев последовательности интенсивных множественностей дадут картографию, совершенно не совпадающую с картографией геополитического социологизма зависимых групп. Историко-генетически необходимо будет вести речь, к примеру, не о традиционной общине в её западном понимании недвижимого земельно-привязанного целого, а о разных типах земельных репрезентаций движущихся потоков людей: беглых солдат, дворовых, откупных и т. п., образующих, в зависимости от скорости и интенсивности каждого из них, множество конкретных активных констелляций. То же самое будет относиться и к городу, и к церкви, и ко всем другим образованиям, трактуемым

сегодня в геополитическом ключе в качестве институтов неторопливой русской жизни.

Мы не развиваем этой иной картографии не только в силу краткости, но и потому, что подробное исследование такого рода — задача совершенно новая (хотя зачатки её можно найти уже у Ключевского), к решению которой у авторов пока лишь наметились первые подходы. Но важно уже здесь подчеркнуть, что интенсивные множественности, констеллирующиеся как диаграммы распределения разноскоростных потоков движения людей, культурных влияний, мод, верований, природных катастрофизмов и т. п., — это “группы” активные, производящие свою субъективность не на плане подчинения и адаптации, а на плане *имманентном*, где невозможно верховенство ни “общечеловеческих ценностей”, ни деспотической инстанции. Поэтому сборка этих фрагментаций — всякий раз в рамках единого теоретико-экспериментального комплекса, где высказывание носит перформативный характер и совпадает с политическим действием, — есть вопрос всегда открытый, так как здесь ролевой автоматизм невозможен.

Следует также особо подчеркнуть хронографизм российского мира. По преимуществу здесь реализуется только хронополитика. При этом *время* необходимо понимать не в его геополитическом ключе — как непрерывность преемственного существования, а как чистую интенсивность разрыва, как скорость избыточной сигнификации.

Попытка ввести личностное измерение в этот мир — это не просто нечто мечтательно-утопическое, очень желаемое, но трудно достижимое. Превращение группы в “группен-зеркало” для нарциссизма симулируемого Я ведёт к территориализации групповых фантазий, к воображению группы как физикалистского тела, абсорбирующего в себя субъективность “эго” в качестве подвида зависимой группы. Это и есть ситуация падения в чёрную дыру абсолютной детерриториализации, ситуации фашизоидности, из которых наиболее хорошо известна и изучена немецкая. Происходит тотемизация лидера, воображаемого феномена коллективной псевдофаллизации. Лидер остаётся без контроля над ситуацией, над сигнификационной машиной, которая, однако, продолжает инвестировать власть и автономию её функционирования. Возникает тот режим, который очень точно назван “культом личности” — режим жертвенной индивидуации, коллапс избыточного производства власти. В этой ситуации лидер может ей не подчиниться и быть убран (Кеннеди, Хрущёв, Ленин), либо возглавить этот процесс падения в чёрную дыру де-

территориализации, превратившись в симулякр деспотической инстанции. Поэтому проповедь “демократии” в наших условиях и в том виде, в котором она осуществляется, — это не нечто безобидное, а наиболее опасный из типов стратегии подчинения мира субъектных групп миру зависимых групп.

В. Геополитические мотивации в формировании канонической идентичности российского типа и хронополитизм

Отечественные общественные науки, располагаясь на полюсе специфики российского социокультурного контекста, между тем полностью принадлежат оппозиции Запад и Восток в рамках зеркального противопоставления двух моделей отношения знакового (целерационального) и символического (аксиологического) и тем самым репрезентируют геополитический ментальный канон, выработанный в рамках всё той же западной социологии. Суть геополитического способа производства общественной связи — *в расширении ресурсных территорий на основе жизненных интересов нации в горизонте калькуляционного накопляющего усилия.*

Так или иначе, но социокультурное пространство рассматривается как качественно однородная, симметрично обратимая среда, конституируемая неким абсолютным наблюдателем. Это означает, что одни и те же законы прогностически исполняются в любой точке наблюдаемого пространства, коль скоро они установлены хотя бы для одной точки этого пространства. Кроме того, идеалом геополитического устройства универсума является моноэтническое устройство, в рамках единого истока происхождения и территории расселения.

Совершенно ясна неудовлетворительность такого типа моделирования и вытекающих из него способов прогнозирования для специфически трансрегиональной ситуации, обозначаемой как Россия. Стандартные схемы описания России как империи (то есть как восточного по способу связи аксиологического и целерационального), а кризисной ситуации как “развала империи” — с последующим геополитическим способом разрешения “территориальных проблем” — не соответствуют специфике развития ситуации. Наоборот, они активно влияют на разворачивание кризиса в направлении коллапса.

Геополитическая оптика, инкорпорированная европейской социологической ментальностью в отечественные науки об обществе, восходя на уровень верховной власти, предопределяет

ложную стратегию по отношению к процессу суверенизации регионов империи и способна привести к силовому, военному варианту развития отношений. Что, соответственно, приведёт к ещё большей дезинтеграции и неуправляемости кризисных процессов. Об этом и свидетельствуют события в других регионах бывшего СССР.

Принципиально важным нам представляется описать иной канон устройства трансрегиональной ситуации, более соответствующий состоянию дел, — *хронополитический канон*.

Хронополитическая модель принципиально трансверсальна геополитическому воззрению на мир, поскольку она опирается не на территориально-пространственный (геометрический) этногенез, а на временную его сборку, то есть сборку через сверхскорость, развиваемую государством. Мы утверждаем, что способом существования русского этноса является *трансгрессивное движение, постоянно преодолевающее и разрушающее территориальную локализацию, выходящее за пределы целерационального или экономического контроля. Хронополитическая стратегия данного движения — это стратегия сборки и удержания гетерогенных этнических, культурных; экономических фрагментов как единого целого.*

Согласно геополитической стратегии, “маточный этнос”, предоставляя своей культуре и экономике максимально широкий простор для развития, колонизируемым этносам оставляет их социокультурный уклад, делая их экономику и политику зависящими от нужд развития маточного этноса. В имперской сборке России дело “колонизации” было поставлено принципиально иначе. *Подавлялся сам этногенез* — как маточного этноса, так и этносов-сателлитов. Более того, подавлялся сам территориальный принцип репрезентации социокультурных связей. Для этого абсурдным образом, с точки зрения отношения этносов, перекраивались границы, ломались системы письменности, перекраивались ландшафты, идеологическим образом основывались новые “экономические зоны” и т.п. Отрицал геополитическое устройство империи и основной принцип репрезентации власти — номенклатура.

Нам представляется, что имперская сборка трансрегиональной целостности России осуществляла себя не в пространственном приоритете, а во временном. Это обнаруживается уже при тщательном продумывании принципа классовой идентичности, положенного в основу имперской сборки СССР. Марксистски трактуемое ранжирование индивидов по классам, увенчиваемое классом пролетариев, располагает эти классы не в пространстве,

а в историческом времени, во главу угла ставя принцип “уничтожения классов”. Идеология коллективного спасения трудящихся в жертвенном круге “построения коммунизма”, “освободительная миссия пролетариата”, спасающего всех трудящихся в жертвенном усилии “самоуничтожения”, — все эти аспекты марксизма были вовсе не случайно педалированы при образовании СССР. Подчиняющий в течение многих столетий всю свою политику не территориальному рациональному распределению средств и продуктов, а строю “абсолютного будущего” (освобождению от ига, становлению третьим Римом, становлению Европой), и в идеологии коммунизма разом рвущий со всей дифференциацией социокультурных и этнических определённостей, данный трансрегиональный контекст нашёл себе идеально соответствующий тип соотнесения целерационального и аксиологического.

Завершившая себя в России индустриально-кастовая структура блокировала этнотерриториальную идентификацию индивидов и переводила экономию различий в сферу производства квази-этнота “трудящихся”, собираемого из ранжированных единиц “трудовых коллективов”. Принципы этого ранжирования (распределение ресурсов в системе планового хозяйства, формы хозяйствования, приближенность к решению военных задач, успехи в социалистическом соревновании и т. п.) располагали Россию в хронографическом универсуме. Универсуме, монтируемом коллажно, из гетерогенных фрагментаций коллективов заводов, колхозов, садово-огородных кооперативов, коммунальных квартир, ЖЭУ, творческих союзов и т. п. Хронографический монтаж фрагментаций “коллективов” исключает инстанцию трансцендентального наблюдателя, центрированную точку, из которой по единым, гомогенным принципам осуществляется “учёт и контроль”, регуляция всех типов социокультурных связей. *Провалы в непрерывности исполнения целерациональных регулятивов* — основа имперской сборки России. Создаётся впечатление, что для того, чтобы работать, данное общественное производство должно *недостаточно хорошо работать*. Функционально-рационалистская утопия “сверхкомпьютера”, устанавливающего баланс по “входу” и “выходу” из производства, здесь в максимальной степени агрессивна по отношению к специфике производства жизнедеятельности. Непрерывность планового управления экономикой фрагментируется “теневой экономикой” перераспределения ресурсов через прямые связи между производителями, непрерывность правового пространства исполнения конституции фрагментируется репрессивными практиками дознания и наказания и т. п. Асимметрия и дисфункция

являются существенными условиями жизнедеятельности российского социума.

Можно говорить о том, что сам этногенез осуществляется здесь по иным принципам, не совпадающим с принципами геополитического этногенеза. Этническая идентичность в хронографическом типе территориализации устанавливается не на основе гомогенного замыкания пространства государственным устройством монокультуры и моноязыка, а на основе *фрагментированного растекания в порах других этносов*, каждый из которых собирает себя не стеканием на “историческую родину” и выселением “инородцев”, то есть не центрированием геополитического типа, а соотносённостью со всей совокупностью фрагментаций данной культуры, перемещающихся в поры всех других этнических образований. Эта *экстатическая модель этнического суверенитета* работает не в режиме охраны единой, издавна заселённой территории (как устроен любой европейский суверенитет), а в режиме симулятивной памяти о “*малой родине*”. Малая родина — понятие, общее для всех кочевых народов, — не относимый ни к каким геополитическим ландшафтным образованиям территориальный фантазматический объект (гора, от подножия которой якобы пошёл род верховного деспота; берёзки и покосившиеся избы для кочевой массы, живущей в советских городах; трансверсально пересекающая область жизни многих этносов река Волга для русских и т. д.). Будучи фантазматическим объектом, малая родина — это чрезвычайно устойчивое основание для этнокультурной памяти, в то же время не предполагающее никакого объекта действительности, точным, единственным и взаимооднозначным образом соответствующего этому фантазму. Наоборот, радикально отрицая всякую конкретную территориальную репрезентацию, фантазм малой родины позволяет без ассимиляции существовать в любом ландшафте, с любым этносом. Особенно устойчивым фантазм малой родины становится тогда, когда он теряет всякие ландшафтные территориальные очертания и целиком выражается на плане политических терминов и политического воображаемого. В этом случае фантазм малой родины связует в центрированный пучок этнические фрагментации всех взаимопроникающих друг в друга этнических образований. Именно таким образом функционировала собирающая себя на плане Октябрьской социалистической революции “великая родина” всех советских людей — СССР. Остаётся и по сию пору серьёзно не продуманной концептуальная технология коммунистической теории национальных отношений. Фантазм “Советского Союза”, являющегося родиной не только “новой исторической общности — советского народа”,

но и “всего прогрессивного человечества”, образует как раз противоположный геополитическому способ этногенеза — *хронополитический этногенез субъектных групп*. Очень точно выражает смысл этого этногенеза известная формула, согласно которой “все мы родом из Октября”. Мы родом не из территориального образования, а из максимально одухотворённой рождением хронотопа точки абсолютного разрыва времён, и таким образом — из максимально скоростной точки организации переживания темпоральности. Такого рода легитимация через источник располагает логику всего дальнейшего этногенеза этнических фрагментаций народов, неселяющих Россию, в совершенно ином ментальном пространстве, нежели европейское пространство моноэтногенеза, по аналогии с которым моделируют наши этнические проблемы сегодняшние теоретики этноса, а вслед за ними и субъекты политического решения.

Кризис легитимации через данный источник свидетельствует, на наш взгляд, вовсе не о “лживости” такого типа моделирования идентичности, а об изношенности данного основания записи культурной памяти, износившегося при необходимой для сборки столь гетерогенных фрагментаций сверхскорости функционирования. Мирное сосуществование (усугубленное удачным производством фантазма великой родины) множества интенсивно диффузирующих друг в друга этнообразований в пространстве хронополитического этногенеза не может быть демонтировано на европейских основаниях. Всеобщей “ливанизации” или “ирландизации” страны можно избежать только на пути симуляции нового источника легитимации обобщённого этнического фантазма малой родины.

Итак, кризис этноидентичности — это в первую очередь кризис механизмов производства *непрерывности и постоянства* этнокультурного поля, к которому принадлежат индивиды. Предшествующие этнокультурные технологии уже не в состоянии структурировать и организовать динамику изменений в качестве непротиворечивой. Индивиды, в свою очередь, не могут придать изменениям смысл непрерывности и тем самым пребывают в состоянии кризиса. Конфигурация этнического целого, утратив стабильность и однозначность, перестаёт быть идентификационным ориентиром, посредством которого индивид не только отличает, но и защищает себя от *другого* (“этнически чуждого”). *Символические основания* коллективной связи становятся основным продуцентом условий единства, и если первые не подкрепляются соответствующими этнокультурными механизмами, то данное единство приобретает форму *симулякра* — безреферент-

ного гиперреального этнического канона, образ которого — в претензии на статус *реального* — не выходит за границы *этнического воображаемого*. Симулякр национального канона на противоположном полюсе порождает *а-этнические* стратегии идентификации, возможные вследствие культурно-исторических особенностей сложившегося типа этногенеза — *хронополитизма субъектных групп*, специфическим образом инвестирующих символические основания изначального коллективизма в сферу этнотождественности индивидов.

Таким образом, в рамках данной стратегии *гетерогенного миметизма* ненормированная социальная динамика перестаёт дезинтегрировать и дезориентировать индивидов в поле их самореализации, оставаясь за порогом их сверхскоростных возможностей освоения социокультурных изменений.

Такова общая диаграмма кризиса этноидентичности в современной российской ситуации, максимально учитывающая, с нашей точки зрения, специфику социокультурного контекста, различные культурно-исторические реалии и, безусловно, предполагающая дальнейшую разработку языка и стратегии анализа, не базирующихся на традиционных социологических и культурологических схематизмах.

Научное издание

Сергей Зимовец
Молчание Герасима

Издательство «Гнозис»
119847, Москва, Zubовский бул. 17
ЛР № 050032 от 11 октября 1991

Подписано в печать 08.01.96. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Тираж 1100 экз.

Заказ № **4007**

Типографии ПХУ МВД России,
107143, Москва, Открытое шоссе, 18.

В серии **“ПИРАМИДА”**
вышла в свет книга

ШПЕТ Г. Вильгельм Дильтей;
ХАЙДЕГГЕР М. Кассельские доклады.
Rareg-back. 12 п.л.

Тексты двух лучших учеников Гуссерля посвящены мыслителю с именем которого отчасти связан поворот в феноменологии в сторону герменевтической проблематики. В критически заостренной работе Шпета анализируются парадоксы, возникающие при попытке обоснования методологического дуализма с полаганием в качестве основы наук о духе (Geisteswissenschaft) описательной психологии. Лекции Хайдеггера 1925 года, также посвященные Дильтею, носят более позитивный историко-философский характер, представляя место Дильтея в современности размышлений о бытии. Хайдеггер сталкивает дискурс Дильтея с феноменологией и ищет основание для их совмещения в проработке идеи времени. Текст Шпета подготовлен М. Литвинович и И. Чубаровым. Перевод Хайдеггера выполнен А. В. Михайловым.

В серии “ПИРАМИДА”
вышла в свет книга

Б. РАССЕЛ, Введение в математическую философию. С приложениями. Paper-back. 14 п.л.

Фундаментальность *Principia Mathematica* не вызывает сомнений, однако вызывает сомнение существуют ли сейчас герои, готовые прочитать этот испещренный логической и математической символикой труд. К счастью, Рассел сам облегчил задачу будущим поклонниками своего таланта, написав *Введение в математическую философию*, охарактеризованную им как адекватную *Principia Mathematica* для образованной публики.

Она, хотя и содержит изложение весьма технических результатов, популярна в самом хорошем смысле этого слова. Репутация Б. Рассела как великолепного стилиста и популяризатора в случае этой книги оправдана вдвойне. Дело в том, что он популяризировал свой труд и свои идеи, что, наверное, трудно. Книга не только содержит обсуждение результатов применения логики к математике (для целей логицистского сведения математики к логике), но и ряд философских положений самого Рассела. Известно, что Рассел много раз менял свои философские взгляды, но всегда неизменным оставался его метод анализа. *Введение в математическую философию* представляет собой великолепный пример анализа как осуществления единства расселовской философии в разных ее проявлениях. Впервые на русском языке публикуется один из наиболее важных для понимания расселовской философии текстов. В *Приложении* помещены тексты Кауйна и Геделя.

В серии **“ПИРАМИДА”**
ВЫХОДИТ В СВЕТ КНИГА

**Р. ЯКОБСОН, Язык и бессознательное. Paper-back.
14 п.л.**

Выходящий к 100-летию со дня рождения сборник статей Якобсона имеет целью представить узловые моменты мышления Якобсона, найти единую мотивацию его весьма разносторонних изысканий. Структура сборника по возможности отражает это намерение. Статьи расположены в следующем порядке: от постановки общей проблемы бессознательного через статьи по проблемам афатических расстройств, речи ребенка, поэтической речи, к проблемам семиотики, структуры языка как таковой к анализу наименьшей смысловой единицы- фонемы.

ПИРАМИДА

